



# Свитки Дипети

**ЛОРЕНС ДАРРЕЛЛ**

---

**АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ  
КВАРТЕТ  
ЖЮСТИН • БАЛЬТАЗАР**



**Лоренс Даррелл**  
**Александрийский квартет:**  
**Жюстин. Бальтазар**  
Серия «НЕО-Классика»  
Серия «Александрийский  
квартет (сборник)»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=38578684](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=38578684)*

*Л. Даррелл. Александрийский квартет: Жюстин. Бальтазар: ООО*

*«Издательство АСТ»; Москва; 2018*

*ISBN 978-5-17-110595-2*

## **Аннотация**

Четыре части романа-тетралогии «Александрийский квартет» не зря носят имена своих главных героев. Читатель может посмотреть на одни и те же события – жизнь египетской Александрии до и во время Второй мировой войны – глазами совершенно разных людей. Закат колониализма, антибританский бунт, политическая и частная жизнь – явления и люди становятся намного понятнее, когда можно увидеть их под разными углами. Сам автор называл тетралогию экспериментом по исследованию континуума и субъектно-объектных связей на материале современной любви. В первых трех книгах: «Жюстин»,

«Бальтазар» и «Маунтолив» эти связи постепенно раскрываются во всей своей сложности и запутанности, объединенные временем и местом. В четвертой книге «Клеа» автор дает возможность проследить развитие отношений и судеб во времени. Эта книга связывает воедино сюжетные линии и делает повествование завершенным во всех смыслах этого слова.

Текст данного издания был переработан переводчиком В. Михайлиным и дополнен вступительной статьей и комментариями.

# Содержание

Портрет эксцентрика на фоне средиземноморских пейзажей	6
Жюстин	62
Часть 1	63
Часть 2	182
Конец ознакомительного фрагмента.	219

**Лоренс Даррелл**

**Александрийский квартет:**

**Жюстин. Бальтазар**

Lawrence Durrell

The Alexandria Quartet: Justine. Balthazar

© Lawrence Durrell, 1957, 1958

Copyright renewed. Lawrence Durrell, 1985, 1986

© Перевод. В. Михайлин, 2018

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

\* \* \*

# Портрет эксцентрика на фоне средиземноморских пейзажей

1

В конце августа 1935 года Хенри Миллер, сорокачетырехлетний, никем не принятый и не понятый – по крайней мере, в англоязычном мире – писатель, получает письмо от такого же, как и он, безвестного англичанина по имени Лоренс Даррелл. Дарреллу двадцать три года, он тоже литератор, хотя и не спешит в этом признаться, но самое главное – он в восторге от недавно изданного в Париже «Тропика рака» и считает этот первый по-настоящему сильный роман Миллера лучшей книгой, вышедшей по-английски со времен окончания Первой мировой войны. Лучшей, несмотря на то, что уже увидели свет «Улисс» Джеймса Джойса, «Любовник леди Чаттерли» Ди Эйч Лоренса и «Тарр» Уиндема Льюиса, несмотря на то, что в полную силу работает все послевоенное поколение английских и американских «модернистов»: Хаксли, Вирджиния Вулф, Олдингтон, Гертруда Стайн, Шервуд Андерсон, Хемингуэй, Фолкнер, Стайнбек... Миллер пишет в ответ:

---

<sup>1</sup> Данный текст являет собой переработанный и дополненный вариант статьи: Михайлин В. Портрет на фоне изменяющегося пейзажа // Иностранная литература. 2000. № 11. С. 148–168.

*Дорогой мистер Даррелл,*

*Ваше письмо также не оставило меня равнодушным. Вы – первый британец, который написал мне умное письмо о моей книге. И, если уж на то пошло, – вообще первый человек, которому удалось ударить по гвоздю и действительно попасть по шляпке. И в особенности Ваше письмо нравится мне по той причине, что я бы и сам написал себе точно такое же, не будь я автором книги. Поверьте, я это говорю не из тщеславия и не из заикленности на самом себе. Удивительно, как мало людей понимает, чем нужно восхищаться в книге.*

*Прежде прочих меня поразила в вашем письме одна фраза – «Мне кажется, я угадал в Вашей книге то, к чему мы все давно были готовы». В самую точку. Мир и в самом деле давно готов к чему-то новому, совершенно непохожему на все, что было раньше, но складывается такое впечатление, что нужна еще одна война или какая-нибудь другая колоссальная катастрофа, чтобы люди это осознали.*

*Ваше письмо было настолько живым, настолько искренним, что мне невольно пришло в голову – а Вы сами, часом, не писатель? Как к вам попала книга – (...)?*

*Я не совсем уверен, что правильно прочел Вашу фамилию – вы Даррелл или Даввелл?*

*Искренне Ваш,*

Так было положено начало долгой дружбе и такой же долгой – до самой смерти Миллера в 1980 году – переписке. Дружбе уникальной, поскольку здесь все было по большому, по «гамбургскому» счету. В конце сороковых, дочитав до середины присланную Миллером по почте рукопись «Сексуса», Даррелл пишет, что страшно разочарован, что книга плохая и безвкусная, что в ней есть очень хорошие куски, в которых узнается прежний Миллер, но даже и они теряются в бесформенном и надсадно непристойном – пошлость ради пошлости, совсем не то, что было в обоих «Тропиках» и в «Черной весне» – общем целом. Более того, дочитав рукопись до конца, он шлет Миллеру срочную телеграмму и просит, если это еще возможно, отозвать книгу из печати, потому что иначе репутация большого писателя может быть безвозвратно разрушена. И в этом нет ни тени рисовки, как нет и желания «уесть» бывшего (впрочем, весьма недолго остававшегося в этой роли) мэтра и наставника. Есть только искреннее беспокойство за друга, сделавшего, с точки зрения Даррелла, откровенно ложный шаг. И Миллер отвечает – спокойный, уверенный в собственной правоте, как и в праве друга на собственное, пусть даже откровенно нелестное

---

<sup>2</sup> Здесь и далее перевод иноязычных текстов В. Михайлина. Переписка между Дарреллом и Миллером цитируется по изданию: Lawrence Durrell and Henry Miller: A Private Correspondence. Ed. by George Wickes. L.: Faber, 1963.

мнение о его новом детище. И ему удается, хотя и не сразу, убедить Даррелла в том, что книга написана именно так, как она должна быть написана, что никакой ошибки нет и что он, Миллер, остался верен себе. Ни обид, ни нареканий. И ни малейшего желания сглаживать углы.

В конце семидесятых адресаты меняются местами. Даррелл, которого во всем мире считают теперь одним из самых сильных современных писателей, живым классиком, стоящим едва ли не вровень с Джойсом, Прустом и Кафкой, посылает Миллеру, чья слава уже давно пошла на убыль, рукопись «Мсье», первого романа из нового, еще более амбициозного, чем «Александрийский квартет», прозаического гиганта. И Миллер устраивает Дарреллу точно такой же дружеский разнос, какой и сам получил от него четверть века назад: книга скучная, бесформенная, отдельные хорошо написанные сцены не вытягивают общего целого... Даррелл, как то и должно, уверен в собственной правоте. Миллер, прочитав «Ливию», второй роман «Авиньонского квинтета», немного сбавляет тон – спор при этом не прекращается, однако так и остается чисто творческим, ни капли не мешая дружбе оставаться дружбой.

Завязавшаяся в тридцать пятом году переписка между Парижем, где жил в то время Миллер, и Корфу, первым средиземноморским прибежищем Даррелла, значима не только в силу того, что она сама по себе – уникальный литературный факт, позволяющий следить за творческой кухней двух

равновеликих писателей, а также и за фигурами, в той или иной степени входившими в их круг общения: за Анаис Нин, Альфредом Перле, Т. С. Элиотом, Георгиосом Сеферисом, Ричардом Олдингтоном и многими другими. Значима она еще и в силу элементарного, но весьма показательного факта: в середине тридцатых годов, как будто бы совершенно случайно, сошлись два литератора, разные по национальности, по возрасту, по жизненному опыту и всякого разного рода пристрастиям и похожие только в одном. В том, что они оба уже не принадлежали к поколению «modern» и не хотели писать так, как писали в десятиные и в двадцатые годы. В том, что у них обоих учились потом литераторы следующей, постмодернистской литературной революции. Причем у Даррелла – даже в большей степени, чем у Миллера.

Впрочем, об этом позже. А пока начнем с начала.

\* \* \*

Лоренс Джордж Даррелл родился 27 февраля 1912 года в индийском городе Джалландхаре, в семье инженера, потомственного колониального «столпа Империи». Джалландхар расположен едва ли не у самого подножия Гималаев, и образ застывших горизонт священных гор станет в дальнейшем одним из ключевых «внутренних» образов Даррелла. Впоследствии александрийский период 1941–1945 годов будет мучителен для него также и в силу «плоского аллювиального пей-

зажа», в который вписана эта «столица памяти», – мучителен вполне в духе теорий любимого Дарреллом Карла Гроддека, склонного привязывать человеческое бессознательное к гео- и к топографии. И оттого, в 1945 году, с такой радостью Даррелл уедет из Александрии на Родос, где, кроме собственных гор, есть в восемнадцати километрах гористый турецкий берег, задающий постоянный фон пейзажу. Англия также не будет вызывать у него никаких родственных чувств. Климат, скука, разговоры о погоде и всеобщая «непропеченность» – вот основной список претензий. Но в гористой Шотландии, где климат тоже отнюдь не средиземноморский, а скуки ничуть не меньше, чем в культурных южных графствах, Дарреллу, против ожидания, понравится.

Когда Лоренсу минуло одиннадцать лет, родители отправили своего первенца в метрополию, получать приличествующее будущему колониальному государственному служащему образование. Но мальчик не хотел быть колониальным госслужащим. И получать приличествующее образование он тоже не хотел. Список частных школ, из которых Лоренса Джорджа Даррелла исключили за нежелание заниматься теми предметами, которые, как он считал, ему совершенно ни к чему, воистину впечатляет. К восемнадцати годам, когда настало время поступать в университет (родители слали из Индии соответствующие по тону и содержанию письма), Даррелл окончательно уверился в том, что он писатель и что университеты ему ни к чему.

Начало тридцатых годов проходит в неустроенности и постоянном безденежье. Даррелл пробует зарабатывать на жизнь журналистикой, потом устраивается тапером в ночном клубе, пишет джазовые песенки, но сводить концы с концами ему удается далеко не всегда. Впрочем, такая жизнь до поры до времени его вполне устраивает. Он уверен, что знает, зачем ему все это нужно: богемный образ жизни, случайные заработки, беспорядочное самообразование, жилищные проблемы и бесконечный поток новых знакомых. Он вынашивает планы.

Впрочем, близких друзей у него в этот период времени – раз-два и обчелся. Актер Питер Булл. Букинист и торговец раритетными изданиями Алан Джи Томас, у которого Даррелл, чуть только заводятся деньги, скупает по дружбе своих любимых елизаветинцев. И, главное, поэт и библиофил Джон Госуорт, чей образ жизни, собственно, и служит юному другу муз образцом для подражания. Нэнси, будущая первая жена непризнанного гения, также появляется на его горизонте именно в этот период. «С деньгами не умели обращаться ни она, ни я, и все же вместе мы обходились немного лучше, чем порознь». Это – из «Жюстин», первого романа «Александрийского квартета», о самом начале взаимоотношений протагониста по имени Л. Дж. Дарли и его бледной (на общем ярком экзотическом фоне!) возлюбленной.

Будущий писатель пишет. И даже издается. Сперва появляется «Причудливый фрагмент», сборник стихов, которые

больше говорят о начитанности, о творческих амбициях и о разнообразных литературных пристрастиях автора, нежели об истинном уровне его мастерства. Впрочем, первые, изданные за свой счет сборники начинающих поэтов редко бывают другими. Затем «Бромо Бомбаст» – злая, вполне в духе молодого Байрона пародия на современного литературного мастодонта, властителя дум всей прогрессивно мыслящей английской интеллигенции. Адресат пародии – Джордж Бернард Шоу, великий Жи Би Эс, фабианец и пророк, чьи мессианские замашки вкупе с откровенно слабой (если помещанный на елизаветинцах юный Даррелл принимается сравнивать техники) драматургией вызывают в авторе разлитие творческой желчи. Чего стоит один только псевдоним, под коим сей опус выходит в свет, – Гэффер Пислейк. Где Гэффер – просторечное «папаша», а Пислейк – не слишком пристойная парафраза Пислайк, «миролюбца», основанная на *pee* («моча») и *lake* («озеро»). То бишь «Папаша Зассанец», с параллельным и более чем внятным намеком на «Озерную школу», извечного адресата байроновских инвектив.

К концу 1934 года появляется, наконец, перспектива более или менее серьезного литературного заработка. Или, вернее, околотитулярного. Потому что Даррелл, понимая, что «легкую» прозу он может писать ничуть не хуже, чем десятки преуспевающих коммерческих авторов, вроде Майкла Арлена или Алека Во, усаживает себя за стол и производит на свет «Гамельнскую дудочку любви», которую вскоре

принимает к печати довольно известное издательство «Кэсселл». И не только принимает, но и выплачивает автору аванс. А элиотовский «Фейбер энд Фейбер», вдохновленный примером «Кэсселла», подписывает с Дарреллом контракт на три его следующих романа. И тоже готов заплатить аванс.

«Фейбера» с Т. С. Элиотом заодно Даррелл после этого надолго перестанет уважать. До тех пор, пока не познакомится с Элиотом лично, не отдаст должного разнице между издательскими и творческими интересами крупнейшего поэта, который одновременно главный редактор крупнейшего издательства, – и не поймет, насколько плодотворным и мощным может оказаться влияние элиотовской поэтики на его собственную – уже серьезную – прозу.

Однако авансы оказываются весьма кстати. Даррелл, никогда раньше не державший в руках такой суммы денег (а тогдашние английские издательские авансы, если исходить из дальнейших событий, были весьма и весьма солидными), не теряет, однако, головы и не пускается во все тяжкие – несмотря на демонстративно богемный образ жизни. Он решает убить сразу всех возможных зайцев. Во-первых, для того, чтобы писать подолгу и всерьез, необходимо где-нибудь себя запереть от многочисленных знакомых и продолжать общаться с ними разве что по переписке. Во-вторых, место, в котором ему предстоит творить свою нетленку, должно быть по возможности дешевым – чтобы авансов хватило на возможно больший срок. В-третьих, если уж он собрался торго-

вать бессмертной душой ради бранных материальных интересов, то делать это нужно с удовольствием: то есть место само по себе должно служить наградой за неизбежные душевные издержки.

По всем вышеперечисленным причинам Англия, и без того уже изрядно поднадоевшая, исключалась однозначно. Даррелл перебирает варианты и останавливается в конце концов на Греции, которая жила в те благословенные годы на правах самых что ни на есть дальних задворков Европы и ничем не напоминала нынешнюю туристическую сверхдержаву. На греческих островах жизнь была еще дешевле, чем в материковой части страны, хотя и в Афинах Даррелл смог бы, пожалуй, растянуть аванс как минимум на год.

Он едет в Грецию, останавливает свой выбор на Корфу и постепенно вывозит туда все свое многочисленное семейство – жену, маму, младших братьев и сестру. Этот период жизни Даррелла – пожалуй, единственный более или менее знакомый отечественному читателю период его жизни. По той причине, что Джеральд Даррелл, младший из братьев, которому в ту пору было лет десять-одиннадцать, повзрослев и став профессиональным звероловом, унаследовал от старшего брата склонность зарабатывать деньги где и чем только можно – и тоже стал писать книги. И одной из написанных им книг была «Моя семья и другие звери», неоднократно издававшаяся в бывшем СССР и в свое время весьма у нас популярная. Юмор у Дарреллов – также чув-

ство семейное, как, впрочем, и склонность к крайне субъективной оценке происходящего: старший брат Ларри в книге Джеральда Даррелла есть персонаж сугубо комедийный и не слишком приятный. Хотя, возможно, это всего лишь попытка отплатить старшему брату, неоднократно «проезжавшемуся» по «братьям нашим меньшим». Младший Даррелл конструирует свой Корфу ничуть не в меньшей степени, чем старший – свою Александрию, откровенно «забывая» о ряде значимых обстоятельств <sup>3</sup> и на ходу выдумывая другие, еще более значимые.

Итак, Даррелл поселяется на Корфу и принимается честно отрабатывать авансы. 17 октября 1935 года «Кэсселл» выпускает из печати «Гамельнскую дудочку любви», а Даррелл уже трудится над первым из трех обещанных «Фейберу» романов, название которого, “Panic Spring”, содержит непере-

---

<sup>3</sup> Так, из «Моей семьи» напрочь исчезают почти все женские фигуры, ключевые для тогдашней даррелловской жизни на острове – за исключением разве что Мамы и сестры Марго, без которых, видимо, обойтись было совершенно невозможно, и Лугареции, греческой домработницы, доведенной до полного гротеска. В книге нет ни единого упоминания о Нэнси, жене старшего брата, – как и о том, что Лоренс и Нэнси уехали на Корфу раньше и только после того, как они обустроились на острове, все прочее семейство присоединилось к ним (и о том, что жили они там в основном на деньги Ларри). Теодор Стефанидес, поэт и натуралист, друг дома и наставник маленького Джерри, превращается в холостяка, из жизни которого как-то сами собой исчезают не только жена, но и дочь, Алексия, которая была основным компаньоном Джерри по детским играм и исследовательским экспедициям в окрестностях каждого очередного дома. Не говоря уже о дочери Лугареции, которая позже уедет с Лесли, средним братом, в Англию. Ну и так далее.

водимую на русский игру смыслов: здесь разом и «паническая», то есть находящаяся под покровительством греческого бога Пана, весна – и пружина катапульты, выбрасывающей в случае опасности летчика из кабины. Впрочем, заряда и запала хватает ненадолго. Творческие амбиции, подогретенные знакомством – сперва по переписке, а затем и личным – с Миллером, берут верх. И Даррелл параллельно с «Панической пружиной» начинает писать свой первый по-настоящему серьезный роман, «Черную весну», книгу очень молодую и неровную, книгу, в которой всякий сколь-нибудь искушенный читатель сразу же заметит следы наиболее значимых для молодого Даррелла влияний (Ди Эйч Лоренс, Миллер, Т. С. Элиот времен «Пруфрока» и «Бесплодной земли»). Но, при этом, несомненно, книгу сильную и свежую, книгу, которая дала всем «имеющим уши» понять, что легкая проза никоим образом не есть потолок и призвание этого молодого, амбициозного и уже привыкшего раздавать коллегам по ремеслу направо и налево самые уничижительные характеристики автора.

Миллер, получив в Париже сперва (в ноябре 1936-го) короткое эссе о «Гамлете», а потом (в начале 1937-го) рукопись «Черной книги», окончательно уверяется в том, что перед ним настоящий по большому счету писатель, и принимается рекомендовать его всем своим многочисленным парижским и американским знакомым. И ему не мешают увериться в этом даже откровенно манерные выходки молодого Даррел-

ла. Вроде демонстративного пренебрежения к собственному творчеству: Даррелл принципиально не желает печатать свои тексты под копирку, а потом отправляет единственный экземпляр Миллеру (эссе о «Гамлете» было написано красными чернилами на огромном, разлинованном от руки листе бумаги) обычной почтой с просьбой прочесть, а если не понравится, то выбросить в мусорную корзину, наплевать и забыть – или, как в случае с «Черной книгой», переслать, если выдастся время, «Фейберу». Миллер не только ничего не выбрасывает, он лично садится за машинку, усаживает за машинку Анаис Нин и еще нескольких друзей, чтобы перепечатывать тексты, – и пытается при этом заинтересовать Дарреллом знакомых издателей.

Восьмого марта 1937 года он пишет Дарреллу:

*Дорогой Даррелл,*

*я получил **Черную книгу**, открыл ее и стал читать: вытираю глаза, с восторгом, изумлением и ужасом. Я до сих пор ее читаю – не торопясь, потому что не хочу упустить ни единого сочного кусочка, ни единой строки, ни единого слова. В английском языке Вы – **мастер**; в Вас – колоссальное богатство, и я с трудом могу представить книгу, которая была бы в состоянии Вас исчерпать. Ваш язык взламывает все положенные книгам пределы, перетекает через край и порождает потоп, который не есть большая книга, но – река языка, Глагол, рассеившийся на составные части и вправ-*

ший в амок. В этой книге Вы написали такое, чего до Вас не осмеливался написать ни один человек. Книга зверская, всепоглощающая, жестокая, опустошительная, страшная. Я до сих пор не могу прийти в себя. Так что это не критика – да и нужна ли Вам критика? Нет, это – салют мастеру. Когда дочитаю до конца, напишу Вам письмо поспокойней; когда перечитаю ее еще раз и как следует все в себя впитаю. А пока – так, наскоком.

Я, естественно, не жду от «Фейбер и Фейбер», чтобы они Вашу книгу опубликовали. А Вы что, всерьез на это рассчитывали? Ни один английский и ни один американский издатель не осмелится ее напечатать. Мы обязаны найти для этой цели **человека!** Я уже думаю над этим. И вот тут-то начинаются проблемы. Вы пишете, что это единственный экземпляр. Разве можно так пугать людей. Я, конечно, могу отправить рукопись «Фейберу» заказным письмом, но даже и в этом случае – я не смогу спать спокойно, доверив ее почте. Прежде чем я ею хоть как-то распоряжусь, напишите мне, как Вам кажется, не лучше ли будет, если я Вашу рукопись перепечатаю, а еще лучше, перепечатаю под копирку? Если Вы не против, я мог бы это устроить, люди надежные, я их знаю и доверяю им. Работа, конечно, предстоит большая – я даже не знаю, сколько здесь страниц, поскольку вы не нумеруете страницы. Но если Вам это дело покажется стоящим, я за него возьмусь, и сам оплачу все расходы. Можете зачесть это – если Вам угодно – в

счет моего Вам долга. С другой стороны, может, Вы хотите, чтобы она дошла до «Фейбера» как можно скорее? Так что, не откладывая, сообщите мне, что мне делать.

Мой дорогой Даррелл, Вы уже никогда не сможете написать ничего, что пришлось бы им по вкусу – как Вы изволили выразиться в сопроводительной записке. Вы пересекли Экватор. На Вашей карьере в качестве коммерческого литератора можно ставить крест. Отныне вы вне закона, и я Вас от всей души с этим обстоятельством поздравляю. (...)

Вся эта вещь – поэма, колоссальная поэма. Я не понимаю, как Вам до сих пор приходит в голову писать отдельные стишки. Любой Ваш стишок после этого – так, на две затыжки. **Это поэма.** Господи Иисусе, да это как черная смерть. У меня просто нет слов. Единственный, с позволения сказать, минус – это слишком колоссально колоссальный текст. И нужно быть Гаргантюа, чтобы все это в себя вобрать.

(...)

И, бога ради, скажите мне, сколько времени у Вас ушло на то, чтобы все это написать? Могу себе представить, сколько Вы отдали сил. Это настоящий *tour de force* <sup>4</sup>.

Ну, напишу еще, как только дочитаю. И – ура!

ХВМ <sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Проявление силы (*фр.*).

<sup>5</sup> Хенри Винсент Миллер.

Через пять дней, дочитав книгу до конца и ничуть не изменив своего – восторженного – о ней мнения, Миллер пишет еще одно письмо и заканчивает его на самой жизнеутверждающей ноте. Гений состоялся. К черту деньги и договоры с «Фейберами». *«Если в природе не существует подходящего для Вас издателя, значит, нам самим придется его сотворить!»* Ответа ему приходится ждать аж до конца июля, и ответ приходит весьма неожиданный. Сквозь неровный – и довольно нервический – тон письма сквозит весьма четко выстроенная и обдуманная позиция (у Даррелла было время подумать): он не собирается делать резких движений. Более того, он твердо уверен в том, что постоянно работать на уровне «Черной книги» он не сможет и что помимо высокой прозы, помимо уже вырисовывающихся на горизонте «Книги мертвых» (из которой получится впоследствии «Александрийский квартет») и «Книги чудес» (через несколько лет этот «проект» станет называться «Книгой времен», а в конце концов выльется в «Авиньонский квинтет»), он намерен и дальше производить на свет всяческую «литературу» – хотя бы для того, чтобы не потерять контакта с действительностью и с потенциальным широким читателем.

Восемью годами позже, 5 мая 1945 года, в письме, отправленном из Александрии в адрес Элиота, Даррелл еще раз объяснит, для чего в перерывах между серьезными прозаическими шедеврами он писал и далее писать намерен вещи более или менее «легкие»: *«...для упражнения для забавы*

*для денег для моих подружек – или нет?»*<sup>6</sup>

Здесь – начало той загадки, которую Даррелл представлял и до сих пор представляет и для критиков, и для широкой читающей публики. Кто же он, на самом-то деле, такой? Ловкий литературный шарлатан, действительный уровень которого никак не выше какого-нибудь Колина Уилсона – но который сумел в конце пятидесятых предугадать резкий поворот во вкусах читающей публики и выплыть к самым олимпийским высям на волне нарождающегося «мягкого» пост-модернизма? Но тогда – зачем была «Черная книга», которая в плане «промоушн» не принесла автору ничего, кроме проблем? Почему не продолжить начавшую уже в конце тридцатых вполне успешно складываться карьеру коммерческого литератора? Зачем двадцать лет ждать наступившего лишь в 1957 году звездного часа? И зачем еще через двадцать лет, уже имея за плечами «почти состоявшуюся» Нобелевскую премию, гигантские тиражи и прочие атрибуты успеха, упрямо выпускать под старость том за томом «Ави-ньонского квинтета», книги, которую вряд ли кто-нибудь (за исключением специалистов и особо упертых фанатов) заставил себя прочесть до конца?

Или – все-таки гений, каким его увидел в 1937 году Миллер, а потом и не он один? Писатель, которого всерьез прочили четвертым в великую троицу Джойс – Кафка – Пруст? У которого учились и продолжают учиться ведущие фигу-

---

<sup>6</sup> Цит. по: Twentieth Century Literature. Vol. 33, № 3 (Fall, 1987), P. 354.

ры современной английской, американской, французской, немецкой и прочих литературных традиций. Но тогда – зачем обильный поток пусть крепкой, пусть отмеченной отсветом великолепной стилистики «Квартета», но все же ординарной – как хорошие ординарные вина – путевой прозы? Зачем юмористические рассказы из дипломатической жизни? Пусть тоже весьма неплохо сбитые – но такое может писать каждый третий литератор из крепкого третьего разряда. Зачем дилогия «Восстание Афродиты», сделавшая бы честь тому же Колину Уилсону? Зачем, как выразился Миллер, «стишки», и драмы в стихах, и киносценарии, и эссе, и интервью для светских журналов, и... По меткому замечанию одного не слишком расположенного к Дарреллу критика, единственный жанр, в котором автор «Александрийского квартета» себя не попробовал, – это жанр оперного либретто. «Для упражнения для забавы для денег для моих подружек»?

Однако вернемся к биографической канве. Летом тридцать седьмого года Даррелл едет в Лондон – естественно, через Париж. В Париже, добавив к литературным впечатлениям неотразимое личное обаяние, великолепный талант рассказчика и воистину гениальное чувство юмора, он окончательно влюбляет в себя Миллера, Анаис Нин и всю прочую компанию из дома номер восемнадцать по рю Вилла Сёра. Миллер с готовностью расстается с ролью *cher maître* (какое словосочетание останется в ходу лишь в качестве шутили-

вой инвективы); два реформатора англоязычной словесности уравниваются в правах и – пользуясь неприменимой к английскому говорению русской реалией – переходят на «ты». Даррелл обещает вернуться и едет в Лондон выяснять отношения с «Фейбером», лично знакомиться с Элиотом, с Диланом Томасом и Хавелоком Эллисом, литератором, сексологом и издателем репринтов «подцензурной» елизаветинской драматургии.

«Фейбер», как и следовало ожидать, «Черную книгу» печатать отказывается, хотя и не препятствует ее публикации любой третьей стороной, поскольку «право первой ночи» соблюдено. Как объясняет Дарреллу Элиот – публикация не состоялась исключительно из нежелания издательства вступать в конфликт со строгой английской цензурой. Свое нелестное мнение об Элиоте как о человеке и редакторе Даррелл меняет на прямо противоположное; Элиот же и раньше был к Дарреллу равнодушен, а о не принятой к печати «Черной книге» отозвался как-то раз в письме к ее автору следующим образом: «единственная книга молодого английского писателя, которая помешала мне окончательно разувериться в будущем отечественной прозы». Впрочем, будучи лицом официальным и материально ответственным, позволения цитировать этот свой отзыв публично он Дарреллу все-таки не дает.

Обратная дорога лежит опять-таки через Париж, где Миллер, Перле и Нин затеяли разом издание журнала The Booster

(«Толкач») и книжной «Серии Вилла Сёра». Даррелл, вкусив для разнообразия парижской богемной жизни, уезжает к себе на Корфу, а в «Серии Вилла Сёра» наряду с «Зимой в Африке» Анаис Нин и «Максом и белыми фагоцитами» Миллера выходит в 1938 году «Черная книга». Чуть позже Миллер и Нин уламывают-таки Джека Кэхейна, владельца скандально известного издательства «Обелиск Пресс», опубликовать книгу еще раз. Широкого резонанса, однако, несмотря на все их старания, роман не получает. И денег не приносит тоже. Чего, впрочем, от него никто и не ждал. От фейберовских авансов кое-что остается, и Даррелл зовет всю честную компанию к себе в Грецию, обещая райскую жизнь и отдых от столичной суеты. В июне 1939-го на Корфу приезжает Миллер – засим следует путешествие по Греции, начиная с Афин, где Даррелл знакомит Миллера с Йоргосом Кацимбалисом и Йоргосом Сеферисом – гениальным рассказчиком, прообразом миллеровского «Колосса» и гениальным поэтом, будущим нобелевским лауреатом.

Расстанутся они только 26 декабря 1939 года в Триполисе, на Пелопоннесе, чтобы увидиться в следующий раз почти через тридцать лет. Начинается – или, по крайней мере, официально объявлена – война. Деньги тоже как-то сами собой подходят к концу. Даррелл предлагает свои услуги греческому представительству Британского совета. Он неплохо знает новогреческий, он, несмотря на неподобающий род занятий и образ жизни, обладает определенными организаторскими

способностями, он умен, наблюдателен и хорошо разбирается в местной политической и культурной ситуации. Британский совет поручает ему несколько неожиданную работу: возглавить находящуюся под патронажем сей культуртрегерской организации школу в Каламате, на юге Пелопоннеса, в самой что ни на есть греческой глуши – и родине едва ли не лучших во всей Греции маслин (позже, в «Жюстин», тамошний протагонист Л. Г. Дарли выплеснет свою тоску по «правильному берегу Средиземного моря» именно через «святую плоть» настоящих, правильных маслин). Однако в делах международных культура и разного рода гуманитарные акции всегда были наилучшим возможным прикрытием для совсем другой деятельности. Складывается впечатление, что именно в это время и именно в силу перечисленных выше качеств на Даррелла обращает внимание английская разведка: очень скоро обстоятельство это отразится на его дальнейшей судьбе, а некоторое время спустя – и на его книгах.

Все греческие друзья Даррелла (Сеферис, Кацимбалис, Теодорос Стефанидес) идут добровольцами в армию и принимают активное участие в боевых действиях – сперва в разгроме итальянцев в ходе Албанской кампании, а с апреля 1941 года в отчаянном сопротивлении неудержимому немецкому наступлению. Даррелл учит детишек в Каламате английскому языку и литературе, нянчит только что родившуюся дочь, следит за пролетающими время от времени немецкими бомбардировщиками и наведывается, как только

выпадает такая возможность, в опустевшие Афины.

За три дня до прихода немцев в Каламату, 25 апреля 1941 года, Дарреллам удается уехать из Греции на случайной кайке, экипаж которой состоит по преимуществу из не подчиняющихся ничьим приказам солдат разгромленной греческой армии. Кайка идет на Крит, исключительно по ночам, чтобы избежать встречи с немецкими «штуками», которые в то время бомбили любое замеченное судно – поскольку немецких и итальянских судов в этом районе Средиземного моря по определению не было. Однако и по ночам идти не многим безопаснее, поскольку судно допотопное и из трубы вместе с дымом сыплется целый сноп искр, очень хорошо заметных хоть с воды, хоть с неба.

С Крита, опять-таки едва ли не в последний момент перед тем, как немцы осуществили одну из своих лихих десантных операций, Дарреллы уезжают в Египет, в Каир. Где-то по дороге происходит разрыв («просто война» – как позже лаконично объяснил его причины в письме к Миллеру Даррелл), и Нэнси с годовалой Пенелопой уезжает в Иерусалим. Даррелл пытается – уже во второй раз – вступить в английскую армию, однако у правительства свои планы на этого, уже успевшего себя зарекомендовать в «культурной» деятельности, молодого литератора. И буквально через месяц он оказывается в Александрии, в должности пресс-офицера, и вступает в один из самых, наверное, сложных периодов своей жизни.

Он ненавидит Александрию. Здешний пейзаж, здешние нравы, та работа, которую ему приходится выполнять, – и ни единого просвета на затянутом тоской и неприкаянностью горизонте. Из Иерусалима – ни весточки. Разрыв окончательный и обжалованию не подлежит. Следующая встреча с дочерью состоится только через шестнадцать лет – но и об этом Даррелл пока, естественно, ничего не знает. Он пускается во все тяжкие, и богемная лондонская юность повторяется почти зеркально, с той разницей, что сам он стал на десять лет старше и что Александрия – никак не Лондон.

Старая и не раз успевшая себя скомпрометировать теория насчет того, что художник должен быть несчастлив для того, чтобы творить, к Дарреллу имеет самое непосредственное отношение. Только Даррелл – тугодум. И на то, чтобы острый эмоциональный опыт отлежался и обрел внутреннюю художественную структуру, у него уходит не год и не два. Для непосредственного самовыражения существуют «стишки», в которых он готов выплескиваться снова и снова. Но колоссальное внутреннее напряжение александрийской поры должно пройти очистку и закалку памятью, должно освободиться от всего ситуативного, случайного, обрасти – на совершенно «александрийский», если иметь в виду эллинистическую традицию, манер – каскадом значимых культурных отсылок, чтобы дозреть в итоге (через пятнадцать лет!) до точки кипения. Когда, в 1957 году, Даррелл сядет и, согласно столь же банальной романтической формуле (а как он любил

банальные романтические формулы!), «не отрывая пера от бумаги» переписет набело уже сложившийся, уже готовый «Александрийский квартет». Пока же – несчастье, рутина и «стишки».

Впрочем, быть несчастным по Дарреллу отнюдь не означает глубинной немецко-романтической *Weltschmerz*. Радости жизни, как то: вино, литература, море, женщины, далее по умолчанию – составляют непреходящий контрастный фон для личной неустроенности (вот, кстати, один из секретов потрясающей психологической притягательности «Квартета»). А поскольку состояние влюбленности – главный ключ к упомянутым радостям жизни, то многочисленные быстротекущие романы удивительно скоро приводят Даррелла к главной его александрийской любви, к Эве Коэн, по прозвищу Цыганка: что, впрочем, лишь отчасти сокращает число быстротекущих романов.

«Жюстин», первый роман «Александрийского квартета», Даррелл посвятит именно Эве Коэн, к тому времени уже успевшей не только стать Эвой Даррелл и произвести на свет Сапфо Даррелл, но оказаться на правах бывшей жены входящего в моду писателя. Эва Коэн – действительно ключевая фигура и в этом романе, и в «Квартете» вообще. Центральный и весьма противоречивый женский персонаж, Жюстин, александрийская еврейка с отягощенной наследственностью, трудным детством и бурной юностью, с достаточно тяжелым психическим расстройством и неутолимой тягой к

поискам истины, – этот персонаж сознательно и старательно списан именно с нее. Но не только он один. Мелисса, вторая, «параллельная» любовь протагониста Л. Г. Дарли – гречанка, проститутка, наркоманка, танцовщица в ночном клубе и воплощение греческой «агапе» – тоже Эва Коэн. Только другая, греческая ее половина (мать Эвы была гречанка из Смирны – родного города Мелиссы). А у старого меховщика и двойного агента, на содержании у которого жила Мелисса до роковой встречи с Дарли и с которым связана в романе одна из самых пронзительных сцен, весьма знакомая фамилия: Коэн. Да и Лейла Хознани, если вдуматься, да и сама Александрия в ее женской и взыскующей, «софийной» ипостаси...

Но до всего этого прихотливого обилия сюжетов, персонажей, образов и сцен пока еще очень и очень далеко. Пока Даррелл, азартно распутывающий в рабочее время хитросплетения ближневосточной политики, того самого змеиного гнезда заговоров и контрзаговоров, которому будет почти целиком посвящен «Маунтолив», третий роман тетралогии, только и мечтает о том, как бы вырваться из ненавистного города, этой, говоря словами из «Квартета», «суки среди городов». И как только ему предоставляется возможность перебраться «на правильный берег Средиземного моря», он незамедлительно эту возможность использует.

Осенью 1945 года он добивается поста офицера по связям с общественностью на Родосе – что предполагает собствен-

ный штат сотрудников, собственную типографию и возможность выпускать любую печатную продукцию на любых возможных языках. В письме к Миллеру он пишет, что он «not exactly the Governor of these twelve islands, but damn near», «не то, чтобы губернатор этих двенадцати островов, но чертовски к тому близок». Он во многом определяет если не стратегию, то тактику британской политики на Додеканесских островах <sup>7</sup>, постепенно набирая вес и амбиции и наживая себе врагов в британском посольстве в Афинах.

«Коэн с ее семью языками» следует за ним в качестве личного секретаря, причем для этого приходится в буквальном смысле слова похищать ее из дома, поскольку отец и слышать ничего не хочет ни о каком отъезде дочери из Александрии с англичанином, за которым она не замужем и который, между прочим, формально еще не в разводе с Нэнси (сюжет Меллисса – меховщик Коэн в «Квартете»).

Даррелл и Эва Коэн поселяются на Вилле Клеоболус – маленьком аккуратном домике на четыре комнаты, окруженном зарослями бугенвиллеи, в стенах старого турецкого кладбища, украшенного несколькими раками местных ис-

---

<sup>7</sup> Додеканес, или Южные Спорады, – архипелаг в Эгейском море (острова Родос, Кос, Карпатос и др.), столица – Родос. До Первой мировой войны принадлежали Турции, затем были фактически оккупированы Италией. В ходе Второй мировой войны служили ареной почти непрерывных боевых действий между греками, англичанами, итальянцами и немцами. После войны мандат на управление ими получила Великобритания, которая затем – вопреки ожиданиям Турции и невзирая на претензии последней – передала острова Греции, своей неизменной союзнице в этом регионе.

ламских святых. Дом расположен совсем неподалеку от главной родосской бухты, где у входа в гавань, на месте ступней рухнувшего Колосса стоят две изящные колонны с «оленьими» навершиями. Греческое море, греческий воздух, греческая речь и греческое вино, и к тому же – ничуть не менее богатые, чем в Александрии, напластования вер и культур: Даррелл отдыхает душой и телом, несмотря на довольно напряженную работу. Наброски к «Книге мертвых» становятся все обширнее, и все явственнее в них начинает проглядывать будущий «Квартет» – да и место действия теперь окончательно и бесповоротно перемещается из Греции в довоенную и военных времен Александрию.

Даррелл теперь довольно значимая фигура в местном послевоенном раскладе сил, и это, помимо довольно солидного жалованья и кучи обязанностей, имеет еще один немаловажный смысл. Он искренне надеется, что солидный пост на Родосе послужит мостиком для перевода в Афины, на должность не менее денежную и престижную, но поближе к Сеферису, Кацимбалису, приличным библиотекам и к прежней греческой жизни. Однако в британском посольстве в Греции у него недоброжелатель, развязывается настоящая канцелярская война, в которой менее искушенный Даррелл проигрывает по всем позициям: в итоге на успешной дипломатической карьере при британской миссии в Греции приходится поставить крест. Он вынужден сперва вернуться в Англию, а потом на год (с декабря 1947 по декабрь 1948) подписать

унизительный – после родосских высот – контракт все с тем же Британским советом и уехать аж в Аргентину, преподавать в провинциальном по европейским меркам университете тамошней Кордовы английскую литературу.

Потом – возвращение в Англию и попытка получить новое назначение поближе к Средиземному морю, по линии все того же Британского совета, который вполне, с его точки зрения, мог бы послать его во Францию или в Грецию. В результате – с июня 1949 по конец 1952 года – пост пресс-секретаря в британском посольстве в Белграде.

Коммунистическая послевоенная Югославия произвела на Даррелла неизгладимое впечатление. Вплоть до резкой и окончательной смены политической ориентации. Если до конца сороковых он скорее склонен сочувствовать левым, как то и должно английскому интеллигенту поколения 20–30-х годов, если, приехав в 1947 году в Англию, он восхищается успешной политикой нового лейбористского правительства, то отныне он – консерватор и антикоммунист. Жизнь дипломатического корпуса в стране, надсадно строящей светлое будущее, полна, вдобавок к обычной замкнутости и сосредоточенности на довольно странных с обыденной точки зрения ритуалах, самых роскошных и неожиданных казусов. И не случайно именно в это время Даррелл создает Энтробаса, старого дипломата и рассказчика многочисленных юмористических историй – будущего любимца толстых еженедельников, готовых платить автору «Александрийско-

го квартета» бешеные гонорары за эти в общем-то весьма неприятные рассказы.

Должность пресс-секретаря посольства позволяет совмещать достаточно высокий дипломатический статус и гораздо более свободный, чем у прочих коллег по цеху, «режим содержания». С одной стороны, Даррелл снова становится весьма заметной в местном дипломатическом мире фигурой (и уже не в пределах маленькой подмандатной территории, какой были во второй половине сороковых Додеканесские острова, а в столице – пусть югославской, но столице) – он удостоен личной аудиенции у маршала Тито, он принимает самое активное участие в организации исторического визита сэра Энтони Идена в Белград и вообще разворачивает в пределах британской миссии весьма активную и разнообразную деятельность. С другой стороны, он практически непрерывно колесит по всей стране с некими туманными культурно-дипломатическими целями, что лишней раз дает повод заподозрить в нем отнюдь не только пресс-секретаря. Напомню, что политическая ситуация на Балканах в это время крайне сложная. Тито поссорился со Сталиным, на границах Югославии сосредоточены советские войска, которые в любой момент могут получить приказ начать вторжение на территорию не пожелавшего идти в общем строю коммунистического собрата. Западная дипломатия, и в первую очередь британская, активно обрабатывает югославское руководство, стремясь углубить раскол во вражеском стане –

и дипломатия с разведкой, как, впрочем, и всегда, работают плечом к плечу. Напряженность между буржуазным Западом и коммунистическим Востоком достигает весьма опасной стадии, и то обстоятельство, что конфликт вот-вот разразится именно на Балканах, навеивает весьма невеселые исторические ассоциации.

На писательство, судя по количеству проделанной на благо родины работы, вовсе не должно оставаться времени. Однако за время работы в белградском дипкорпусе Даррелл пишет (на основе читанных в Аргентине лекций) весьма дельную даже по академическим меркам литературоведческую книгу «Ключ к современной поэзии» и стихотворную драму из греческой истории «Сапфо» – не считая всяческих мелочей, вроде откровенно антикоммунистического фарса на сюжет «Красной Шапочки», поставленного силами сотрудников британской миссии на радость коллегам и избранным гостям. В 1950 году в Оксфорде появляется на свет Сапфо Даррелл, и Даррелл, уже успевший поднакопить за истекший период весьма солидную, на его взгляд, сумму, начинает подумывать о том, чтобы свернуть затянувшийся роман с Форин офис и вернуться к счастливой жизни вольного литератора, с издателем в Лондоне и домом где-нибудь на берегу Ионийского моря. К 1952 году эти планы превращаются в навязчивую идею – он задыхается в Югославии, ему жмет воротничок дипломатической визитки, а эмбрион «Книга мертвых» все настойчивее заявляет о своем желании быть. Дарреллу

как воздух нужна свобода, нужно свободное время, нужен свой дом, и теплое море, и стакан холодной горьковатой греческой реццины душистым вечером на террасе, рядом с печатной машинкой.

Контракт с Форин офис заканчивается пятьдесят вторым годом, и Даррелл любовно и тщательно строит планы на следующий, тысяча девятьсот пятьдесят третий. Он обещает себе «golden year», золотой год: уйти со службы, купить дом на Кипре и вплотную засесть за «Книгу мертвых». Однако перед самым отъездом из Югославии с Эвой случается нервный срыв, ее приходится отправить на лечение в Англию, и он, естественно, едет за ней следом. Месяц за месяцем проходят в полной неопределенности – психическое состояние Эвы не улучшается. Потом врачам удается убедить Даррелла в том, что от его присутствия пользы Эве ровным счетом никакой, и в марте 1953 года он, взяв с собой дочь, отправляется-таки на Кипр.

На острове ему достаточно быстро и достаточно дешево удается купить подходящее жилище в горной деревушке Беллапэ, неподалеку от Никосии, и он с головой уходит в перестройку этого старого турецкого дома в будущую штаб-квартиру будущего великого писателя. Денег у него, как между тем выясняется, вовсе не так уж и много. Эва понемногу идет на поправку, но врачам приходится платить, и платить хорошо. Кипр переживает период строительного бума, и на камень, на трубы, на цемент и дерево, не гово-

ря уже о каменщиках и водопроводчиках, тоже уходят более чем круглые суммы. За полгода от скопленных денег не остается и следа, и Даррелл вскоре вынужден взяться за привычную рутинную работу – за преподавание английского языка и литературы в никосийской гимназии для девочек (провинциальный школьный учитель, обремененный грузом ненаписанных книг и женщиной с долгой историей психических расстройств – Л. Г. Дарли уже почти готов появиться на свет). Тем временем ситуация на Кипре обостряется до предела, и его, вроде бы совершенно внезапно, приглашают на другую, столь же привычную, но куда более высокооплачиваемую работу – возглавить пресс-службу местной британской администрации.

Согласно «официальной», отраженной в письмах и в написанной по горячим следам кипрской эпопеи книге «Горькие лимоны», для Даррелла его личное активное участие в этом затяжном конфликте (начавшегося с акций гражданского неповиновения и террористическо-партизанской войны греков-киприотов, которые боролись за воссоединение Кипра с Грецией, против британской колониальной администрации и переросшего затем в гражданскую войну между греческой и турецкой общинами) действительно было полной неожиданностью. Он приехал на Кипр писать и радоваться жизни. Но сразу возникает ряд вопросов, ответы на которые грозят не оставить от этой версии камня на камне.

Во-первых, довольно странным представляется сам выбор

места для «золотого года». Кипр – не Греция, и Даррелл сам неоднократно подчеркивал различия между ними, причем никак не в пользу Кипра. Он, по горло объевшийся Левантом в первой половине сороковых годов, вряд ли мог всерьез мечтать о том, чтобы навсегда пустить корни на этом, пусть на восемьдесят процентов грекоговорящим, но все же по сути совершенно ближневосточном острове – отколовшемся от континента куске Сирии, или Палестины, или Египта – но уж никак не Греции. Сами греки-киприоты – и об этом Даррелл также неоднократно писал – совсем не похожи на своих эгейских и ионических собратьев, и сквозь привычный даррелловский филэллизм то и дело проскальзывают нотки откровенного презрения. Так почему же не знакомый и любимый Корфу, не Родос, где осталась масса добрых друзей, не Пелопоннес, наконец, и не Афины, куда уже давно вернулись и давно зовут Даррелла в гости и Сеферис, и Кацимбалис, и вся столь желанная и близкая ему компания с Плаки? И – почему такая спешка, заставившая бросить в Англии больную и все еще любимую жену и ехать именно на Кипр? Обширнейший круг знакомств, которые сразу же завязываются на острове, удивлять вроде бы не должен: Даррелл всегда был человеком весьма общительным, очень быстро сходился с людьми и мог очаровать кого угодно и при любых, даже самых неблагоприятных условиях. Но уж очень это похоже на целенаправленную и упорную работу по созданию сети информаторов как в греческой, так и в

турецкой общинах. Для человека, официально числящегося на британской государственной службе, подобное в тогдашней непростой обстановке было бы практически невозможным. А вот для писателя на вольных хлебах, для свободно говорящего по-гречески весельчака, балагура и просто рубахи-парня, который знает, как подойти к налаживанию долгих и прочных дружеских связей, – что ж, и греки, и турки всегда были людьми гостеприимными и всегда крайне высоко ценили дружбу. И еще одна деталь: Даррелла в его кипрском уединении навещает, естественно, нескончаемый поток старых знакомых. Но среди этих старых знакомых подозрительно часто мелькают разведчики-профессионалы, из тех, кто в период немецкой оккупации Крита создавал там диверсионно-партизанские отряды, – Патрик Ли (*Падди; лорд Рейкхелл*) Фермор <sup>8</sup>, Ксен Филдинг <sup>9</sup> и другие. То есть специали-

---

<sup>8</sup> Британский литератор, разведчик и диверсант (1915–2011). Во время немецкой оккупации Крита был организатором греческого Сопротивления на острове. Подготовил и осуществил уникальную операцию – похищение и переправка морем в Александрию генерала Хайнриха Крайпе, немецкого коменданта острова. После войны – успешный автор травелогов, реформировавший жанр британской путевой прозы. Один из ведущих на Би-би-си как-то назвал его «помесью Индианы Джонса, Джеймса Бонда и Грэма Грина».

<sup>9</sup> Еще один британский писатель, переводчик, разведчик и диверсант (1918–1991). Под командованием Падди Фермора занимался на Крите созданием разветвленной сети греческих информаторов, вызволял и переправлял в Александрию оставшихся после разгрома британского гарнизона на острове английских и союзных солдат (спасены были несколько сот человек). Затем был заброшен в тыл к немцам в Южной Франции, попал в плен и едва не был расстрелян. После войны опубликовал воспоминания, переводы и путевую прозу.

сты по партизанской войне в населенных греками горах – с той разницей, что на сей раз воевать приходится не вместе с греками, а против греков.

«Приглашение» Даррелла на высокий официальный пост при британской колониальной администрации – причем сразу на самый верх, минуя все промежуточные стадии, так что вчерашнее частное лицо в одночасье становилось одним из главных игроков на кипрской политической арене – в этом контексте, вероятно, имеет смысл воспринимать просто как легализацию резидента, выполнявшего до сей поры все ту же, привычную работу по «связям с общественностью», только на другом структурном уровне. Легализацию тем более своевременную, что для ЭОКА, партизанско-террористической организации националистического толка, его инкогнито, видимо, уже перестало быть таковым. «Близко знакомые» с ним греки погибают, если верить самому Дарреллу, без всяких видимых на то причин, а потом и с ним самим происходит какая-то темная история, которую можно интерпретировать в том числе и как попытку покушения. Жить в Беллапэ становится явно небезопасно, и Даррелл окончательно перебирается в столицу.

Родственников (а за прошедшие два года на Кипре успели побывать и маленькая Сапфо, и ее бабушка, спешно выпитая из Англии для ухода за ребенком, и даже брат Джеральд, тут же наводнивший дом в Беллапэ всякой живностью) постепенно переправляют обратно в метрополию, си-

туация с Эвой, несмотря на периодические улучшения в ее психическом состоянии, становится все более и более сложной – особенно после ее приезда на Кипр, закончившегося очередным нервным срывом, – и Даррелл снова оказывается в ситуации вынужденного одиночества, которое скрашивают и даже делают желанным два «параллельных» обстоятельства. Во-первых, он, каким-то невероятным образом выкраивая по нескольку часов в день (а, вернее, в ночь), пишет «Жюстин», первый роман своего главного прозаического гиганта, который называется уже не «Книга мертвых», а «Александрийский квартет». И к январю 1956 года заканчивает работу над рукописью (и тут же, в силу старой доброй традиции, отправляет ее в Калифорнию, Миллеру). А во-вторых, он знакомится с журналисткой и писательницей по имени Клод Вансендон, которая становится прообразом самой светлой героини «Квартета», Клеа Монтис, и с которой он наконец, впервые за много лет, по-настоящему счастлив.

Вот здесь и наступает настоящий перелом. Он знает, что написал гениальную книгу и что эта книга – только начало. Он больше ничем не хочет заниматься, кроме писательства, и – он находит женщину, которая понимает его так, как до сих пор не понимала ни одна женщина на свете. Ему становятся совершенно неинтересны давно уже ставшие повседневной рутинной политические игры. Греция – причем не Кипр, не Левант, а именно Греция – начинает его раздражать: греки очень любят дружить, то есть болтать ночами на-

пролет, пить вино и петь песни, и совершенно не дают работать. Тем более что далеко не каждый грек согласится теперь подать Дарреллу руку – в Греции его и до сих пор не слишком любят, обвиняя, и, очевидно, не без оснований, в том, что приведшие к затяжному локальному конфликту ошибки британской администрации на Кипре во многом были результатом его «эллинофильской» деятельности. Так что, со всех точек зрения, пришла пора ставить крест на карьере под крылом у Форин офис и заняться наконец настоящим делом. С того дня, как Миллер признал в Даррелле гения, прошло уже двадцать лет. И за эти двадцать лет, по большому счету, он не опубликовал ровным счетом ничего, что можно было бы поставить рядом с «Черной книгой» – и оправдать заявленные этим типичным романом юного гения надежды и ожидания.

26 августа 1956 года Даррелл выбирается наконец-то из кипрской каши. Сперва он улаживает кое-какие дела в Англии, а потом – и на сей раз окончательно – выбирает «нужный берег Средиземного моря». Юг Франции, Прованс. Который отныне станет его домом – до самой его смерти. Он поселяется там с Клод, с которой отныне тоже будет неразлучен – до самой ее смерти.

В феврале 1957 года он поселяется на Villa Louis, на окраине маленького провансальского городка под названием Соммьер, в департаменте Гар (дома он будет менять еще не раз, пока, наконец, не купит свой собственный, но все они

будут находиться в одном и том же районе, в окрестностях Авиньона и Нима). И – начинается давно обещанный им себе «золотой год». Вернее, не один год, а как минимум три. В течение первого из них Даррелл публикует аж четыре книги, причем в самых разных жанрах. «Горькие лимоны» – традиционная в английской литературе путевая проза, стильная, не лишенная сентиментального начала, уравновешенного, впрочем, началом ироническим; пригоршня пейзажей, типажей, забавных сюжетов, объединенных между собой не слишком лезущей на глаза, но и не дающей о себе забыть личностью автора. Книга настолько обаятельна, что за чтением невольно забываешь об одном немаловажном обстоятельстве: авторскую позицию, как и любую откровенно субъективную позицию непосредственного участника событий, следует воспринимать именно как позицию непосредственного участника событий, кровно заинтересованного именно в этой, и ни в какой другой трактовке происходящего. «Белые орлы над Сербией» – чисто коммерческая затея, приключенческая книга для подростков, впрочем, также по-своему весьма обаятельная. «Esprit de Corps» – первый из даррелловских юмористических сборников, легкие скетчи из дипломатической жизни: вынесенный в название книги французский фразеологизм «Чувство локтя», будучи произнесен на английский лад, совершенно меняет смысл – на «Запах трупа». У Даррелла накипело на дипломатический корпус, и он дает себе волю. Впрочем – это еще цветоч-

ки. Всерьез он воздаст должное большой политике только в «Маунтоливе». Хотя и кусаться вот эдак, походя, тоже не перестанет.

Но главное, конечно, – «Жюстин». Роман совмещает в себе два до крайности неуживчивых качества. Это – действительно великолепная проза, книга, которая оставила далеко позади первый даррелловский замах на гениальность и заявила во всеуслышание: да, гений состоялся. И – это бестселлер, мигом побивший все рекорды продаж не только «высокой», но и чисто коммерческой прозы. Но, напоминая, для Даррелла это всего лишь начало настоящей работы. «Жюстин» – вполне законченный, самостоятельный текст, однако все его богатство будет явлено только тогда, когда он столкнется, сплетется, схлестнется с тремя другими романами тетралогии – ибо смысл целого несводим к сумме смыслов составных частей. К июню все того же пятьдесят седьмого года он заканчивает «Бальтазара», второй роман «Квартета», ставший полной неожиданностью для публики, которая с нетерпением ожидала «продолжения» «Жюстин». Потому что «Бальтазар» – не продолжение. Потому что все истины, с таким трудом обретенные в «Жюстин», оказываются здесь обманкой, сюжеты и персонажи обнаруживают свою «истинную» подоплеку, и впору перечитывать «Жюстин» заново, удивляясь, как это ты сам не заметил настолько очевидных авторских «покупок».

К апрелю следующего, 1958 года готов и третий роман

«Квартета», «Маунтолив». И публика, ожидавшая на сей раз резкого поворота в духе «Бальтазара», была обманута еще раз. То есть поворот, конечно, состоялся – поскольку большая часть с такой дотошностью, с таким сладострастным расковыриванием язв, с таким обилием сложнейших психологических, мистических и прочих мотивировок выписанных в «Жюстин» и в «Бальтазаре» сюжетов оказывается, как то и должно, блефом. Все гораздо проще. Поскольку время предвоенное, поскольку политическая ситуация сложна невероятно, поскольку в Александрии действует такое количество всяких разведок и служб безопасности, не считая тайных обществ и отдельных заговорщиков, что героев на них на всех явно не хватает, и многим приходится работать на двоих, а то и на троих хозяев. Однако главная неожиданность текста заключалась вовсе не в этом. Читатель, уже успевший привыкнуть к густой, на барочный манер прихотливой прозе Даррелла, к затейливой мозаике фабулы, к принципиально эклектичной стилистике, где главные смыслы рождаются именно на стыке несовместимых стилей, столкнулся с добротным, совершенно «стендалевским» по форме романом, написанным как будто специально для того, чтобы подтвердить правоту критика, который сказал как-то раз, что Даррелл «может писать замечательную простую прозу, но не слишком часто хочет»<sup>10</sup>.

«Клеа», четвертый роман «многопалубного гиганта», до-

---

<sup>10</sup> Fraser J. S. Lawrence Durrell. L., 1973. P. 13.

писан к лету 1959 года. Оценки ему, как то и должно, были выставлены самые разные – от «полной творческой неудачи» и «доказательства того, что автор выдохся» до «невероятного по смелости разрешения всех заявленных тем». Однако как бы критики и читающая публика ни отнеслись к последнему роману тетралогии (он и в самом деле не лишен откровенных – и, возможно, преднамеренных – слабостей, но в нем есть сила, и яркость, и смелость замысла; а финальная «подводная» сцена – едва ли не самая сильная во всем «Квартете»), чудо, тем не менее, состоялось. Лоренс Даррелл, один из многочисленных английских «литераторов второго плана», становится фигурой мирового масштаба и принимается пожинать плоды.

Еще в конце 1957 года, по свежим следам «Жюстин», он получает свою первую литературную премию – английскую, Даффа Купера. Ни в сумме, ни в статусе премии ничего особенного нет. Но есть нечто особенное в обстоятельствах ее вручения: 9 декабря 1957 года на специально устроенном по этому случаю приеме Даррелл получает соответствующие документы и чек из рук британской королевы. Далее, с года на год, его популярность и степень обласканности самыми различными литературными, культурными, околотрудовыми и околотрудовыми инстанциями растет как снежный ком. Пиком публичного признания «Квартета» едва не становится Нобелевская премия по литературе, на которую Даррелл был номинирован в 1961 году. По све-

дениям из «информированных источников», при голосовании Нобелевского комитета он не добрал какого-то *minimum minimum*, и обошел его на повороте – по иронии судьбы – югослав Иво Андрич.

Впрочем, Даррелла данное обстоятельство, видимо, не слишком расстраивает. «Квартет» переведен на все основные европейские – и не только европейские – языки, за автором этого стильного интеллектуального бестселлера в буквальном смысле слова охотятся издатели и журналисты, и, к тому же, всемирная слава имеет весьма солидное денежное выражение. Он меняет дома и в 1966 году обретает, наконец, постоянную прописку – в довольно мрачном трехэтажном особняке в стиле модерн, на окраине Соммьера, в окружении каштанов и пальм, и с легендой «*Mme Tartes*»<sup>11</sup> над парадной дверью. Он тратит деньги на исполнение давних, почти мальчишеских желаний – вроде большого надувного катера «Зодиак» с мощным подвесным мотором, на котором совершает морской переход из Италии в Грецию, и микроавтобуса «фольксваген», чтобы можно было не только ездить вместе с Клод и друзьями по суше, но и возить с собой, на случай, «Зодиак». В число друзей, кстати, именно в конце пятидесятых, попадает Ричард Олдингтон, также натурализовавшийся на юге Франции.

Работа, между тем, идет своим чередом – и Даррелл,

---

<sup>11</sup> Мадам Тарт, по-французски – разом, и Мадам Фруктовый Торт, и Мадам Оплеуха. А по-английски *tart* – еще и «шлюха».

с присущим ему стремлением хвататься за все свежие, неопробованные и чреватые неожиданностями возможности, открывает для себя все новые и новые сферы творчества. Давняя и неразделенная до поры до времени любовь к театру находит, наконец, свое воплощение. 22 ноября 1959 года в престижном гамбургском театре «Дойче Шаушпильхаус» проходит триумфальная премьера написанной еще в 1950 году пьесы «Сапфо». Ставит ее именитый немецкий режиссер Густав Грюндигенс. В главной роли – бесподобная Элизабет Фликеншильдт. В 1961 тот же Грюндигенс ставит «Акте». В 1963-м Даррелл специально для и «под» Грюндигенса пишет «Ирландского Фауста» (тот собирался не только поставить пьесу, но и сыграть в ней Мефистофеля), но Грюндигенс внезапно умирает. Пьесу ставит Оскар Фриц Шу, состав исполнителей достаточно сильный, однако публика принимает премьеру совсем не так тепло, как ожидалось, и на этом недолгий роман Лоренса Даррелла с театром подходит к концу.

Параллельно развивается не менее бурная интрига с кинематографом. Еще в 1960 году в Голливуде возникает замысел грандиозной исторической костюмной драмы «Клеопатра», фильма фильмов, который должен побить все возможные – в том числе и кассовые – рекорды. Режиссером в «проект» приглашают Рубена Мамуляна. Вопрос о том, кому доверить написание сценария, имеет, как представляется в 1960 году, только одно решение – и сценарий заказывают

Дарреллу. Однако в 1961 году Мамулян принимает решение окончательно порвать с кино. Деньги в проект, между тем, вложены уже очень и очень немалые, скандал разрастается и приводит в конце концов к практически полной смене всего работающего над фильмом коллектива. Режиссером становится Джозеф Манкевич, из нескольких написанных Дарреллом вариантов сценария в окончательном тексте используются какие-то жалкие крохи, и даже в титрах вышедшего-таки в 1963 году блокбастера его имени, кажется, нет.

Но Даррелл не спешит ставить крест на карьере в шоу-бизнесе. В середине шестидесятых он пишет сценарий для еще одного фильма, «Юдифь», – и переписывает его полностью, проведя несколько недель в Израиле с исполнительницей главной роли, Софи Лорен.

В 1969 году на экраны выходит снятый на киностудии «XX век Фокс» фильм Джорджа Кьюкора и Джозефа Штрика «Жюстин» с откровенно «звездным» составом исполнителей (Майкл Йорк – Дарли, Дерк Богард – Персуорден, Анук Эме – Жюстин, Анна Карина – Мелисса). Автор, однако, не в восторге от кинематографической версии своего прозаического шедевра и, кажется, немного обижен тем, что сценарий по его собственной книге заказали не ему. Впрочем, фильм и в самом деле получился совершенно неудачным – сама попытка втиснуть четыре романа в полтора часа экранного времени, да еще и убрать все лишнее в пользу шпионско-любовной линии, говорит сама за себя. И даже

великолепные актеры, судя по всему, не слишком понимают, что именно каждый из них должен играть – пожалуй, за исключением Филиппа Нуаре, у которого с ролью Помбаля не возникло ровным счетом никаких проблем.

В 1970-м лондонская «Таррет рекордс» выпускает пластинку с мюзиклом Даррелла «Улисс возвращается», где сам Даррелл еще и читает текст.

Кинематограф, сцена, музыка – однако и этим интересы Даррелла не ограничиваются. В 1964 году в парижской «Галери де коннэтр» проходит выставка гуашей никому до сей поры неизвестного художника по имени Оскар Эпфс. Под этим не слишком благозвучным псевдонимом скрывается все тот же неугомонный и вездесущий гений. В устройстве и оформлении выставки ему помогают хорошая парижская знакомая, художница Надя Блох и старая боевая подруга – с родосских еще времен – фотохудожница Мэри Молло. Выставка проходит достаточно успешно, публика со знанием дела кивает головами, что не может не восхищать Даррелла, чьи творческие рецепты, позаимствованные по случаю все из того же вечного источника, от Хенри Миллера (Миллер в эту пору большую часть денег зарабатывает поставленным на поток производством акварелей), особой сложностью не отличаются. Даррелл рисует еще с начала тридцатых, но ключ к успеху и общественному признанию подсказал ему именно Миллер. Позже в одном из интервью он ничтоже сумняшея раскрывает тайны своей творческой лаборатории: «Пи-

сать шедевры меня научил Миллер. Техника у него была такая: рисуешь лошадь, или женщину, или еще какую-нибудь лабуду; потом бежишь в ванную, подставляешь рисунок под струю воды, и – шедевр готов!»<sup>12</sup> Отношение к собственному художественному наследию у него, между тем, двойственное. Он никоим образом не метит в гении, однако определенные амбиции у него как у живописца все же имеются. В 1968 году, когда он впервые едет к Миллеру в США и проводит там сногшибательные калифорнийские каникулы (ему очень понравился Диснейленд), из Европы приходит печальное известие: в соммерский дом в отсутствие хозяина забрались воры. Взломщики оказались профессионалами высокого класса, и Даррелл по этому поводу с грустью замечает: они забрали его лучшие книги Елизаветинской эпохи и картины действительно крупных современных художников – но из его собственных творений не взяли ничего. Он делает выводы: хранить архив и рукописи дома небезопасно – и начинает подыскивать надежное место (в конце концов он продаст свой архив в Америку, в Карюондейл, университету Южного Иллинойса). Но занятий живописью не оставляет до самой смерти. Кроме того, он еще и читает лекции в университетах, занимается йогой (причем использует йогойские навыки в том числе и в чисто сценических целях – скажем, садится в позу лотоса во время этих самых лекций),

---

<sup>12</sup> Цит. по: Jan S. McNiven (Ed.) *The Durrell – Miller Letters 1935–80*. L., Boston, Faber and Faber, 1988. P. 399.

и так далее, и так далее...

Несостоявшийся нобелевский лауреат не намерен забывать и о том, что в первую очередь он все-таки – писатель. Однако с писательством после выхода «Квартета» все как-то не клеится. То есть пишет Даррелл много, пусть гораздо меньше, чем в конце пятидесятых, но все-таки пишет. Путевые заметки, рассказы для периодических изданий и тому подобные мелочи – плюс, опять-таки, сценарии... Складывается такое впечатление, что ни для чего серьезного у него просто не остается времени. Он всегда умел и хотел жить со вкусом, а поскольку теперь вдобавок к желанию и умению появились еще и возможности, грешно этими возможностями не пользоваться. Клод прекрасно готовит, и Даррелл окончательно становится гурманом, что, кстати говоря, тут же сказывается и на его фигуре. Но он не против сменить имидж. К тому же Лоренс Даррелл знает свой ритм. Сразу после «Квартета» шедевров ждать не приходится. За шедевры, по-хорошему, браться нужно не раньше, чем лет через десять-пятнадцать.

Это, впрочем, не означает, что «машина» работает совсем уже вхолостую. Кое-какие предварительные замыслы у Даррелла есть. Он поговаривает о большом «комическом» романе под названием «Плацебо» и начиная еще с 1961 года делает к нему наброски. Большая их часть, видимо, так и осталась не востребованной, но кое-что всплывет потом в следующем его амбициозном прозаическом «проекте», дилогии

«Восстание Афродиты», написанной в самом конце шестидесятых и состоящей из романов «Tunc» и «Nunquam».

Даррелл никуда не торопится, он дает себе волю отвлечься, а новым замыслам – отлежаться и созреть. Может быть, так бы оно все и вышло, и следующий даррелловский гигант появился бы на свет в начале восьмидесятых, и выглядел бы он совершенно иначе, но вмешалась судьба. Первого января 1967 года в цюрихской больнице внезапно умирает Клод. Даррелл сам ее отвозит – под Новый год – именно в эту больницу, поскольку доверяет тамошним врачам. Врачи уверены, что у Клод какая-то инфекция, и проводят соответствующий курс лечения, но умирает она от рака. Для Даррелла ее смерть – страшный удар, и он находит единственный адекватный способ забвения: он очертя голову бросается в писательство. Результатом этого кризиса и становится «Восстание Афродиты» – откровенная творческая неудача, попытка написать второй «Квартет», но только с заменой «пути писателя» на «путь ученого». В науке Даррелл, в отличие от литературы, был и остается полным дилетантом, и оттого выходит у него в результате некая полу-научная полу-фантастика, «Секретные материалы», где трагически задумчивый протагонист вступает в противоборство с таинственной и всемогущей «корпорацией». В романах полным-полно знакомой восточной (и не только) экзотики, гротескных персонажей, умствований и афоризмов в духе Персуордена, масок, «зеркальности» и прочего двойничества – короче го-

вора, всего обильно «отработанного» в «Квартете» арсенала. Чего здесь не хватает, так это жизни, художественной (а не бытовой, ее от Даррелла требовать бессмысленно!) достоверности и цельности, благодаря которым «Квартет» и стал десять лет назад захватывающим дух шедевром. А на одних архитектурных излишествах далеко не уедешь.

Самое печальное, однако, не это. Печально, что сам Даррелл этого уже не понимает. Он, зоркий и въедливый критик, всегда умевший замечать малейшие творческие слабости – как в чужих, так и в собственных книгах, – как-то разом, вдруг, теряет бдительность. «Восстание Афродиты» ему нравится. Он, естественно, далек от того, чтобы считать эту свою работу безупречной, он замечает недостаток структурности и обещает, что следующий, смутно вырисовывающийся на горизонте текст станет достойным завершением титанического, начатого «Черной книгой» и продолженного «Квартетом» и «Восстанием» прозаического гиганта – единственного макротекста, согласно возникшему еще на рубеже сороковых и тридцатых годов амбициозному замыслу.

С начала семидесятых он с головой уходит в изучение двух основных, структурообразующих для будущей большой книги тем: египетского гностицизма, а также истории и идеологии ордена тамплиеров. И в 1974 году публикует первую книгу из задуманного «Авиньонского квинтета», само название которого служит достаточно внятным намеком как на масштабность текста, так и на его преемственность по отно-

шению к «Квартету». «Мсье, или Князя Тьмы» и публика, и критика встречают недоуменным молчанием – а Миллер пишет автору то самое, уже упоминавшееся дружески-зубодробительное письмо. Даррелл, между тем, уверен, что все идет так, как и должно идти. Структура задана, и отдельные недостатки отдельных текстов пропадут из вида, а то и вовсе превратятся в достоинства, когда конструкция примет окончательный вид, – в конце концов, разве свободен от частных неудач его великолепный «Квартет»? Через четыре года он публикует вторую книгу «пятипалубного» гиганта, «Ливия, или Погребенная Заживо», в 1982-м выходит третий роман, «Констанс, или Уединенные Обыкновения», в 1983-м – четвертый, «Себастьян, или Всепоглощающие Страсти», и, наконец, в 1985-м – последний, пятый, «Квинкс, или Сказка Совершенства». Структура «Авиньонского квинтета» действительно стройна и внешне незамысловата, и в основе ее лежит один из основных магических и оккультных символов – пентаграмма. Однако смысловые контексты, в которых может быть прочитана пентаграмма, достаточно многочисленны, а потому и обилие символических отсылок каждого смоделированного сюжета, каждого вписанного в этот сюжет персонажа, предмета, события и т. д. начинает тяготеть к бесконечности.

Замысел действительно грандиозен. История Ордена Храма полна загадок, необъяснимых совпадений и темных мест. Гностические и близкие к гностическим идеи звучат

порой на удивление созвучно исканиям современных философов, богословов и мистиков. Проблема в другом – в том, какое отношение все это имеет к художественному тексту. Роман, конечно, жанр всеядный: у него луженый желудок, и он в состоянии переварить и лирику, и драму, и эссеистику, и научный-философский-окультурный трактат – при условии, что его собственное, романное тело будет в достаточной степени обихожено и взлелеяно автором. Ди Эйч Лоренс говаривал в свое время о манере прибавать роман гвоздями идей, и о том, что из этого может выйти. Вы либо убьете роман, говорил Ди Эйч (а ему ли не знать!), либо он встанет и уйдет прочь вместе с гвоздями. Окультурные идеи в этом отношении ничуть не лучше марксистских или, скажем, фрейдистских, юнгианских, фрейзеровских и так далее. И лучший тому пример – Густав Майринк, талантливый писатель и не менее талантливый оккультист, сумевший устроить «мистический брак» литературы и тайнознания в «Големе», а потом все более и более тяготевший к тому, чтобы каждый его роман стал формой выражения определенной оккультной системы, и тем все более и более верно убивавший свои романы один за другим. Даррелл, как это ни печально, добивается сходного эффекта. Мало того, всякая попытка воспринимать литературу как форму популяризации оккультных (и не только оккультных) идей чревата переходом тонкой грани между популяризацией и кичем, когда за туманной многозначительностью образов начинает угады-

ваться до боли знакомая интонация салонных и телевизионных «магов». Так, если Даррелл всерьез занимался историей европейских тайных обществ, он не мог не знать, что так называемое «Завещание Петра Великого», целиком приведенное в Приложении к роману «Констанс», есть фальшивка, сработанная польским эмигрантом генералом Сокольниковским на потребу наполеоновских спецслужб и опубликованная во французской прессе – по удивительному стечению обстоятельств – как раз накануне 1812 года.

Впрочем, откровенно «кичевые» ходы популярности даррелловскому «пятикнижию» все равно не прибавили. В качестве легкого чтения этот текст, тяжеловесный, громоздкий и заумный, попросту непредставим. А в элитарных читательских кругах, где в первой половине шестидесятых на человека, не читавшего «Александрийского квартета», смотрели как на марсианина, если и упоминают теперь об «Авиньонском квинтете», то чаще всего не в самых приятных для автора контекстах.

Работал Даррелл и после 1985 года – несмотря на то, что чувствовал себя все хуже и хуже. Он писал эссе, делал наброски к какой-то так и не состоявшейся прозе, даже брал интервью. В 1990 году его не стало. В его соммерском доме 19 сентября 1992 года провели посмертную выставку работ Оскара Эпфса. И в том же 1992 году «Фейбер энд Фейбер», так и оставшийся основным издателем даррелловских текстов, переиздал «Квартет» и «Квинтет», два больших тома.

«Квартет» разошелся довольно быстро.

Творческая судьба Лоренса Даррелла совсем не похожа на привычную, основанную на романтических и постромантических штампах модель писательской судьбы. Да, он успел пожить в шкуре непризнанного гения. Но непризнанный гений, в ожидании звездного часа трезво распоряжающийся собственными писательскими навыками, – это уже из какой-то другой оперы. Да и сам избранный Дарреллом образ жизни скорее подобает гению состоявшемуся. Взять, к примеру, Хемингуэя. Став кумиром целого поколения издателей и журналистов, можно позволить себе скорректировать на пару десятков градусов широту природной зоны обитания; можно позволить себе стать сибаритом настолько, что даже мировая война воспринимается как повод к личной авантюре; можно писать абы что и абы как, веря, что Нобелевская премия все равно рано или поздно найдет своего героя. Хемингуэя, кстати, Даррелл всю жизнь просто в упор не видел и не считал сколь-нибудь серьезным литератором, не говоря уже о гениях. И дело не только в колоссальной – полярной – разнице стилистик.

Юношеское увлечение елизаветинцами многое может в этом смысле сделать яснее. С точки зрения Т. С. Элиота, который, собственно, во многом и открыл елизаветинскую поэзию и драматургию для более или менее широкого английского читателя (и писателя), XVII век был последней в истории европейского человечества эпохой, когда человек был

целен и самодостаточен. Когда поэт и ученый, солдат и богослов вполне мирно уживались в пределах одной и той же личности, именно и делая ее «многолюдным дарованием», как позже Шлегель, кстати основатель немецкого романтизма, на совершенно барочный манер обозначил гения: в отличие от человека просто талантливом, который талантлив в одной какой-то области. А с высоты «многолюдного дарования» всякое призвание, будь то даже писательская или вообще какая угодно артистическая «призванность», священная в романтической (и модернистской!) системе ценностей, есть всего-навсего один из частных аспектов человеческого бытия. И если человек – писатель, он должен в первую очередь быть просто мастером, профессионалом. Ремесленником, в самом лучшем, ныне практически полностью выветрившемся смысле этого слова.

Здоровое барочное отношение к писательству как к ремеслу с самой ранней молодости выгодно отличало Даррелла от большинства его тогдашних современников. Повторю еще раз – к ремеслу в исходном, магическом и сакрализованном смысле слова. И ко всякому стремлению писателя встать под какое бы то ни было знамя и заняться глобальным переустройством мира Даррелл относился в то время как к элементарному свидетельству небрежения профессиональными обязанностями. Так, на предложение Миллера, подпавшего на время под обаяние парижских сюрреалистов, подписать какой-то очередной манифест Даррелл однажды

ответил: если речь идет об -измах, то он законченный дар-реалист <sup>13</sup>. Писатель должен писать. Переустройство мира – это другая профессия. В ней, в самой по себе, нет ничего дурного, собственно, писатель и так этим постоянно занят – но только сам, на собственный страх и риск. Так не станем сбиваться в кучу – и пусть каждый идет своим путем.

Две эти свободы – свобода от диктата «гениальности» и обычная, внутренняя человеческая свобода – всегда шли для Даррелла рука об руку. Да, я гений, и я об этом знаю. Ну и что с того? Почему я не имею права зарабатывать на жизнь писательским ремеслом в его не самых роскошных творческих аспектах – или, скажем, дипломатией, если так повернулась судьба и если мне пришла охота поиграть в шпионов? Или писать джазовые песенки. Или картины гуашью. Или делать кино. Или керамику – если меня заинтересовали профессиональные навыки прикладных ремесел. Весь мир – система знаковых отсылок, и, потянув за ниточку в одном его конце, рискуешь вытянуть рыбу на противоположном краю ойкумены. Эта постмодернистская по видимости мысль – плоть от плоти барочной эстетики. И – Даррелл не придумывал постмодернизма (хотя многие киты постмодернистской литературы, вроде того же Джона Фаулза, откровенно у него учились и не делали из этого ученичества тайны <sup>14</sup>).

---

<sup>13</sup> Непереводимая игра смыслов: вместо приставки *sur-* (над-) Даррелл прибавляет к реализму другую, *dur-* (сквозь-), созвучную его собственной фамилии.

<sup>14</sup> Ср. у Фаулза, «Башня из слоновой кости» и «Волхв».

Просто на излете романтической по сути эпохи авангарда он «вспомнил» об иной культурной доминанте: противопоставив динамике структуру, генезису – многообразию, времени – пространство.

«Авиньонский квинтет» в этом контексте можно воспринимать как еще одно проявление все той же личной и творческой свободы. Одним из способов отказа от уникального личностного субъекта как основы повествовательной техники является гипербильное нагнетание субъективного начала. Еще в «Квартете» Даррелл мастерски проиллюстрировал это нехитрое положение. Одним из способов отказа от «идейности» художественного текста может стать обнаженность «идейного» слоя, откровенное превращение его в поле всеобъемлющей игры по предложенным автором правилам. А удачным или неудачным получился этот текст – что ж, а разве право на неудачу не есть естественное право профессионала?

*Вадим Михайлин*

# Жюстин

*ЭВЕ*

*посвящает автор эту летопись ее родного города*

*Уведомление*

*Персонажи этой книги, первой из четырех, являются полностью вымышленными, как и личность рассказчика, и прототипов не имеют. Реален лишь город.*

*Я постепенно привыкаю к мысли о том, что каждый сексуальный акт следует рассматривать как процесс, в который вовлечены четыре человека. Нам будет о чем поговорить в этой связи.*

***3. Фрейд. Письма***

*Есть две позиции, позвоительные нам: либо преступление – оно делает нас счастливыми, либо же привычка – она мешает нам быть несчастными. Я задаюсь вопросом, возможно ли здесь хоть какое-то колебание, очаровательная Тереза – ну и где же Ваша маленькая головка сможет отыскать аргумент, способный выстоять против сказанного мною?*

***Д. А. Ф. де Сад. Жюстин***

# Часть 1

Сегодня снова штормит, и море пронизано вспышками ветра. В середине зимы замечаешь первые вздохи весны. Небо до полудня как раскаленная вскрытая раковина, сверчки на подветренных склонах, и снова ветер раз за разом обшаривает огромные платаны, тасует их листья...

Я сбежал на этот остров с несколькими книгами и ребенком – ребенком Мелиссы. Не знаю, почему у меня вырвалось это слово – «сбежал». Те, кто живет в деревне, шутят, говорят, что только больной человек мог выбрать такое Богом забытое место, чтобы заново отстроить дом. Ну что ж, я и приехал сюда затем, чтобы вылечиться, если на то пошло...

Ночью, когда ревет ветер и ребенок тихо спит в деревянной колыбели у камина, эхом вторящего ветру, я зажигаю лампу и хожу по комнате, думая о тех, к кому привязан, – о Жюстин и Нессиме, о Мелиссе и Бальтазаре. Я возвращаюсь, звено за звеном, вдоль железных цепей памяти в город, где мы так недолго прожили вместе: она видела в нас свою флору – возвращивала конфликты, которые были ее конфликтами и которые мы принимали за свои, – любимая моя Александрия!

Как далеко мне пришлось уехать, чтобы понять это! Здесь, на голом каменистом мысе, где каждую ночь Арктур выхватывает меня из тьмы, далеко от известковой пыли тех

летних полдней, я вижу наконец, что никого из нас нельзя, собственно, судить за то, что случилось в прошлом. Если кто и должен держать ответ – только Город, хотя нам, его детям, так или иначе придется платить по счету.

\* \* \*

Как рассказать о нем – о нашем городе? Что скрыто в слове – Александрия? Вспышка – и крохотный киноглаз там, внутри, высвечивает тысячу мучимых пылью улиц. Мухи и нищие царствуют там сегодня – и те, кто в состоянии с ними ужиться.

Пять рас, пять языков, дюжина помесей, военные корабли под пятью разноцветными флагами рассекают свои маслянистые отражения у входа в гавань. Но здесь более пяти полов, и, кажется, только греки-демоты умеют между ними различать. Обилие и разнообразие питательных соков для секса, возможностей, которые всегда под рукой, ошеломляет. Счастливыми здешние места назвать трудно. Символические любовники свободного эллинского мира канули в Лету, теперь здесь цветут иные травы, с подспудным ароматом андрогинности, обращенные на самих себя, на самих себя обреченные. Восток не способен радоваться сладостной анархии тела – ибо он обнажил тело. Я помню, Нессим однажды сказал – мне кажется, он кого-то цитировал, что Александрия – это гигантский винный пресс человеческой плоти; те,

кто прошел через него – больные люди, одиночки, пророки, – я говорю об искалеченных здесь душах, мужских и женских.

\* \* \*

Горсть красок для пейзажа... Долгие temperные гаммы. Свет, процеженный сквозь лимонную цедру. Воздух полон кирпичной пыли – сладко пахнущей кирпичной пыли и запаха горячих тротуаров, сбрызнутых водой. Легкие влажные облака липнут к земле, но редко приносят дождь. Поверх – брызги пыльно-красного, пыльно-зеленого, лилового с мелом; сильно разбавленный малиновый – вода озера. Летом воздух лакирован влагой моря. Город залит камедью.

А позже, осенью, сухой дрожащий воздух, шероховатый от статического электричества, разбегается язычками пламени по коже под легкой одеждой. Плоть оживает, пробует запоры тюрьмы на прочность. Пьяная шлюха бредет по улице ночью, роняя обрывки песни, как лепестки. Не эта ли мелодия бросила в холод Антония – цепенящие струны великой музыки, настойчиво звеневшие о расставании с городом, с его любимым городом?

Молодые тела угрюмо ищут отзвука в чужих телах, и в маленьких кафе, в тех самых, куда часто забредал Бальтазар вместе со старым поэтом Города<sup>15</sup>, парни нервно суетятся

---

<sup>15</sup> «Старый поэт Города» – К.-П. Кавафис.

над триктраком под керосиновыми лампами, взбаламученные сухим пустынным ветром – заряженным подозрительностью и прозой, – суетятся и оборачиваются навстречу каждому входящему. Они ведут войну за то, чтобы дышать, и в каждом летнем поцелуе отслеживают привкус негашеной извести.

\* \* \*

Я приехал сюда, чтобы заново отстроить в памяти Город – меланхолический пейзаж, который старик<sup>16</sup> видел полным «черных руин» его жизни. Лязг и дребезжание трамваев по металлическим венам, прорезавшим окрашенный йодом *мейдан* Мазариты. Золото, фосфор, магний, бумага. Здесь мы обычно встречались. Летом появлялся маленький раскрашенный ларек, где продавали ломтики арбуза и яркие шарики фруктового мороженого – ей нравилось именно такое. Она, конечно же, приходила на несколько минут позже – может быть, сразу после свидания в какой-нибудь комнате с зашторенными окнами, об этом я стараюсь не думать; но такая свежая, такая молодая, раскрытые лепестки рта касаются моих губ – непогашенное лето. Мужчина, от которого она пришла, мог все еще возвращаться мыслями к ней, опять и опять; она была словно припорошена пылью его поцелуев.

---

<sup>16</sup> «Старик» – К.-П. Кавафис.

Мелисса! Как мало все это значило, когда рука подавалась под гибкой тяжестью ее тела и она, опершись о мой локоть, улыбалась с безличной невинностью тех, кто навсегда развязался со всякими тайнами. Это было чудесно – стоять вот так, неловко и слегка смущенно, и дышать часто – мы ведь знали, чего хотели друг от друга. Понимание, проходящее мимо сознания, прямо сквозь плоть губ, сквозь глаза, шарики мороженого, сквозь раскрашенный ларек. Стоять легко, держась мизинцами, вдыхая глубоко пропахший камфарой полдень, часть города...

\* \* \*

Просматривал сегодня вечером бумаги. Что-то, видимо, пошло на кухонные нужды, что-то испортил ребенок. Эта форма цензуры мне импонирует, ибо напоминает о безразличии мира ко всему, что воздвигает искусство, – о безразличии, которое я начинаю разделять. В конце концов, что толку Мелиссе от изящных метафор, если она лежит глубоко под землей, подобная бесчисленным здешним мумиям, – в мелком теплом песке черной египетской дельты.

Некоторые бумаги, тем не менее, я тщательно оберегаю от разного рода случайностей – три тетради, в которых Жюстин вела дневник, и фолиант, хранящий память о безумии Нессима. Нессим заметил их, когда я уезжал, кивнул мне и сказал:

«Правильно, заberi это все, прочитай. Там многое сказано о нас обо всех, в этих книгах. Они помогут тебе понять, что такое Жюстин, и не рыскать вокруг и около правды, как я». Это было в летнем дворце, уже после того, как умерла Мелисса, – тогда он еще верил, что Жюстин к нему вернется. Я часто думаю, и всегда с каким-то привкусом страха, о том, как Нессим любил ее. Возможно ли чувство более всеобъемлющее, более самоценное? Эта любовь придавала его несчастью оттенок некой экзотичности, радости быть раненым, подобного ждешь от святого, не от влюбленного. И все же – одна-единственная капля юмора спасла бы его от ужаса вечных мук. Я знаю, легко критиковать. Я знаю.

\* \* \*

В великом молчании здешних зимних вечеров есть только одни часы: море. Его неясный ритм выстраивает фугу, и я нанизываю на нее слова. Гулкие кадансы морской воды, она зализывает собственные раны, облизывает губы дельты, кипит на опустевших пляжах – пустынных, навсегда пустынных под крыльями чаек: белые росчерки на сером, тучи жуют их заживо. Если здесь появляется парус, то умирает прежде, чем мыс успеет его заслонить. Обломок кораблекрушения, вымытый к подножию острова, безмолвная шелуха, окатанная непогодой, прилипшая к голубому небу воды... исчез!

Если не считать морщинистой старой крестьянки, которая каждый день приезжает на муле из деревни, чтобы прибраться в доме, мы совсем одни – девочка и я. Ребенок подвижен и счастлив в столь необычном месте. Имени я ей еще не дал. Конечно, она будет Жюстин – как иначе?

Что до меня, я ни счастлив, ни несчастлив: парю, подобно волоску или перышку, в туманных потоках памяти. Я говорил о бесполезности искусства, но ничего не сказал о том облегчении, которое оно способно принести. Утешение, находимое мною в подобного рода работе ума и сердца, состоит в следующем – только *здесь*, в молчании художника или писателя, реальность можно перестроить, переработать и заставить повернуться значимой стороной. Обычные наши поступки суть не что иное, как дерюга, под которой сокрыто златотканое покрывало – источник значений. Нас, художников, здесь ожидает счастливая возможность помириться посредством искусства со всем, что ранило и унижало нас в обыденной жизни, и – не бежать от судьбы, как то пытаются делать обычные люди, но заставить ее пролиться истинным живым дождем – воображением. Иначе – зачем бы мы мучили друг друга? Нет: благое отпущение, коего я ищу и которое, возможно, и будет мне даровано, я найду не в ясных по-дружески глазах Мелиссы и не в тяжеловатом, исподло-

бья взгляде Жюстин. Каждый из нас выбрал свой путь: но именно здесь, в первом взрыве распада и хаоса, встреченном мной уже в качестве зрелого мужчины, я вижу, насколько память об этих людях расширила границы моей жизни и моего творчества, – безмерно. В мыслях я снова с ними, как будто только здесь – деревянный стол над морем под оливами, – как будто только здесь я наконец могу воздать им сполна. Слова, что возникают на бумаге, напоминают – вкусом? запахом? – тех, о ком они, – их дыхание, кожу, голоса – и обращивают их в податливый целлофан человеческой памяти. Я хочу, чтоб они снова жили, хочу до той самой степени, где боль становится искусством... Может, даже попробовать бессмысленно, не мне судить. Но попробовать я должен.

Сегодня мы с девочкой вместе заложили первый камень в фундамент будущего дома, тихо переговариваясь за работой. Я говорю с ней, как говорил бы с самим собой, будь я один; и она отвечает мне на героическом наречии собственного изобретения. Мы закопали кольца, которые Коэн купил для Мелиссы, в земле под камнем, как велит местный обычай. Это приносит счастье обитателям дома.

\* \* \*

В то время, когда я встретил Жюстин, я был едва ли не счастлив. Внезапно отворилась дверь – и за ней была близость с Мелиссой, близость, не терявшая привкуса чуда от-

того, что была она неожиданной и совершенно незаслуженной. Как и все эгоисты, я не могу жить один, и весь тот последний год меня уже просто тошнило от холостяцкой жизни – я не способен вести хозяйство, я безнадежен во всем, что касается одежды, и еды, и денег; было от чего впасть в отчаяние. Тошнило меня и от кишасей тараканами квартиры, в которой я тогда жил и за которой присматривал одноглазый Хамид, слуга-бербер.

Мелисса проникла сквозь мои обветшалые оборонительные сооружения не потому, что в ней было что-то из обычного арсенала любовниц – шарм, какая-то особенная красота, ум, – нет, но в силу того, что я могу назвать только милосердием, в том смысле, что вкладывают в это слово греки. Я часто видел ее, я это прекрасно помню, бледную, тонкую в кости, одетую в поношенную котиковую шубу – зима, она выгуливает по улицам собачку. Прозрачные руки с голубыми жилками – руки чахоточной – и т. д. Брови, искусно подведенные кверху, чтобы глаза, ее изумительные, без страха искренние глаза, казались больше. Я видел ее каждый день, сотни раз подряд, но ее туманная анилиновая красота не вызвала во мне отклика. День за днем я встречал ее по пути к кафе «Аль Актар», где ждал меня Бальтазар в неизменной черной шляпе, ждал, чтобы «наставлять» меня. Мне и не снилось, что когда-нибудь я стану ее любовником.

Я знал: одно время она была моделью в ателье – работенка незавидная, – а теперь стала танцовщицей; больше того,

она была на содержании у пожилого меховщика, одного из жирных и вульгарных городских коммерсантов. Я набросал эскиз рисунка только для того, чтобы обозначить часть моей жизни, рухнувшую в море. Мелисса! Мелисса!

\* \* \*

Память плавно падает вниз, туда, где мы вчетвером жили вне привычного мира; не было дней, были паузы между снами, зазор, отделявший – одну от другой – раздвижные панели времени, действий, жизни вне пространства... Поток бессмысленных движений, срезающих тонкую суть вещей, вне климата и места, они никуда не ведут нас, не требуют от нас ничего, кроме разве что невозможного – чтобы мы были. Жюстин говорила: мы попали в поле действия воли слишком злонамеренной и сильной, чтобы то была воля людская, – в поле тяготения, коим Александрия окутывает избранных ею – подопытных кроликов.

\* \* \*

Шесть часов. Суета фигур, одетых в белое, у выходов вокзала. Магазины на Рю де Сёр наполняются и пустеют, как легкие. Косые бледные лучи послеполуденного солнца скрадывают длинные изгибы Эспланады, и ослепленные голуби,

как взметенные ветром смерчки резаной бумаги, карабкаются выше минаретов, чтобы зачерпнуть, поймать крыльями последние лучи убывающего света. Звон серебра на конторках менял. Железные решетки банка, все еще горячие. Копыта по брусчатке – чиновники в красных фесках разъезжают в экипажах по кафе. Нет часа тяжелее в Александрии – и вот с балкона я внезапно выхватил взглядом ее, не торопясь бредущую в белых сандалиях в центр, все еще полусонную. Жюстин! Город на секунду разглаживает морщины, как старая черепаха, и заглядывает ей в лицо. На минуту он оставляет заскорузлые лохмотья плоти, пока из безымянного переулка за скотобойней ползет гнусавая синусоида дамасской любовной песни – резкая микрохроматика; словно небо разламывают в порошок.

Усталые мужчины откидывают щеколды балконных дверей и, шурясь, ступают в тускнеющий горячий свет – бледные соцветия полдней, изнуренные бессонной сиейстой на уродливых кроватях, где сны свисают с кареток в изголовье, как заскорузлые бинты. Я и сам был одним из этих худосочных клерков ума и воли, гражданин Александрии. Она проходит под моим окном, тихо улыбаясь про себя, чуть покачивая у щеки маленьким тростниковым веером. Очень может быть, мне и не доведется больше увидеть твоей улыбки – на людях ты только смеешься, показывая великолепные белые зубы. Печальная эта улыбка рождается быстро, и быстро гаснет, и светится изнутри оттенком, как будто совершенно

чуждым твоей палитре, – злой волей. Казалось, тебе уготованы были роли в спектаклях скорее трагедийных по тону, к тому же ты была лишена чувства юмора в обычном смысле слова. Вот только назойливое воспоминание об этой твоей улыбке порою заставляло меня в том усомниться.

\* \* \*

В моей памяти – целый архив подобных моментальных снимков Жюстин, и, конечно же, я прекрасно знал ее в лицо еще до того, как мы встретились: наш город не позволяет анонимности людям, чей доход превышает две сотни фунтов в год. Я помню ее одиноко сидящей у моря, она читает газету и ест яблоко; или в вестибюле отеля «Сесиль», между пыльных пальм, одетую в узкое платье, словно сшитое из серебряных капель, – свои великолепные меха она закинула за спину, как крестьянин куртку, – ее длинный указательный палец продет в петлю. Нессим остановился в дверях залы, затопленной музыкой и светом. Он ее потерял. Под пальмами в глубокой нише сидят два старика и играют в шахматы. Жюстин остановилась посмотреть на игру. В шахматах она ничего не смыслит, но аура тишины и сосредоточенности, переполняющая нишу, зачаровала ее. Она долго стоит между лишившимися слуха игроками и миром музыки, словно выбирая – куда нырнуть. Сзади неслышно подходит Нессим, берет ее под руку, и некоторое время они стоят вместе – она

следит за игрой, он следит за ней. Наконец с легким вздохом она возвращается в освещенный мир – понемногу, неохотно, настороженно.

Ну, а в иных ситуациях, куда как сложных и для нее самой, и для нас, прочих: насколько трогательной, насколько женственной и мягкой умела быть эта обладательница изощренного мужского ума. Она из раза в раз напоминала мне кошмарную породу цариц, которая оставила после себя, подобно облаку, затмившему подкорку Александрии, аммиачный запах кровосмесительных романов. Гигантские кошки-людоеды вроде Арсиной <sup>17</sup> – вот ее истинные сестры. Но за поступками Жюстин стояло что-то еще, рожденное более поздней трагической философией, где мораль была призвана выступить противовесом разбою воли. Она была жертва сомнений, по сути совершенно героических. Но я все еще способен увидеть прямую связь между Жюстин, склонившейся над раковиной, в которой лежит выкидыш, и бедной Софией Валентина, умершей от любви столь же чистой, сколь и ошибочной.

---

<sup>17</sup> Вторая жена и единокровная сестра Птолемея II Филадельфа («Сестролюбивого») (царств. 283–246 гг. до н. э.), авантюристка и интриганка, ставшая в итоге фактической основательницей целой идеологической системы, на которой впоследствии основывалась официальная придворная доктрина египетских Птолемеев, – связанной с мифологией иерогамии (священного, т. е. кровнородственного брака) и с культом Сераписа. (Здесь и далее примечания переводчика даны постранично и обозначены арабскими цифрами. Авторские примечания обозначены звездочками и вынесены в конец книги.)

В означенную эпоху Жорж Гастон Помбаль, мелкий чиновник французского консульства, снимает со мной на пажах небольшую квартиру на Рю Неби Даниэль. Он являет собой фигуру редкую меж дипломатов, ибо, по крайней мере на первый взгляд, умудрился сохранить позвоночник. Для него утомительная рутина официальных приемов и протокола, живо напоминающая сюрреалистический кошмар, полна очарования и экзотики. Он смотрит на дипломатию глазами таможенника Руссо. Она его забавляет, но он никогда не позволит ей покуситься на остатки собственного интеллекта. Мне кажется, секрет его успеха – в потрясающей праздности, порою почти сверхъестественной.

Он сидит в Консюлат-Женераль за столом, усыпанным, как конфетти, игральными картами, на коих начертаны имена его коллег. Этаким гигантский водонепроницаемый ленивец – огромный медлительный человек, поклонник бесконечных послеполуденных сиест и Кребийона-fils <sup>18</sup>. Его но-

---

<sup>18</sup> Клод Проспер Жольо де Кребийон (Кребийон-сын) (1707–1777), один из виднейших представителей литературы французского рококо, автор рассчитанных на взыскательные вкусы парижской аристократии романов, повестей, новелл, сказок и т. д. В его творчестве галантная, замаскированная под нравоучение игра чувственностью часто ведется на условно-экзотическом, «восточном» фоне («Танзаи и Неадарнэ», 1733; «Аталзаид», 1736; «Диван», 1742; «Афинские письма», 1771) В то же время Кребийон-сын – автор одной из самых извест-

совые платки благоухают Eau de Portugal. Излюбленная тема – женщины, и весьма похоже на то, что все, о чем бы он ни говорил, почерпнуто из собственного опыта, ибо череда посетительниц его половины нашей скромной квартиры бесконечна; и в ней лишь изредка мелькает знакомое лицо. «Француза не может не заинтересовать процесс, именуемый здесь любовью. Они сначала действуют, потом думают. Когда же наступает время для раскаяния и угрызений совести, уже слишком жарко, и ни у кого просто не хватает на это сил. Здешнему анимализму, пожалуй, недостает *finesse*<sup>19</sup>, что, впрочем, лично меня вполне устраивает. Эта ваша любовь иссушила мне мозг и душу, я хочу, чтобы меня просто оставили в покое; и больше всего, *mon cher*, мне надоела коптско-иудейская мания *расчленять*, анализировать. Я хочу вернуться на свою ферму в Нормандии нормальным человеком».

Зимой он надолго уезжает в отпуск, и маленькая сырая квартира полностью переходит в мои руки – я засиживаюсь допоздна, проверяя тетрадки на пару с храпящим Хамидом. В тот год я окончательно дошел до ручки. Силы мои иссяк-

---

ных «психологических» повестей середины XVIII века – «Заблуждения сердца и ума» (1756). Д.А.Ф. де Сад, к которому отсылает один из даррелловских эпиграфов, во многом был наследником тех самых «игровых» тенденций французской рокайльной литературы, которые разрабатывал Кребийон-сын и которые сам «безумный маркиз» просто довел до логического предела – в частности, в пародийно-рокайльном романе «Жюстин, или Несчастья добродетели» (1787).

<sup>19</sup> Здесь – тонкости (*фр.*).

ли, и я понял – я абсолютно ни на что не годен. Я не мог работать, не мог писать; даже заниматься любовью. Не знаю, что на меня нашло. В первый раз я по-настоящему почувствовал: воля жить во мне угасла. Под руку попадается то пачка исписанных листов, то корректура какого-то романа, то книжка стихов – я листаю их неприязненно и невнимательно; и с грустью – будто разглядываешь старый паспорт.

Время от времени одна из многочисленных подружек Жоржа залетает в мою паутину, зайдя к нему в его отсутствие, – подобные инциденты на время усугубляют мою *taedium vitae* <sup>20</sup>. В этих делах Жорж предусмотрителен и щедр – перед отъездом (зная о моем безденежье) он часто платит вперед какой-нибудь сирийке из ресторанчика Гольфо и оставляет ей указание провести ночь-другую в нашей квартире *en disponibilité* <sup>21</sup>, как он выражается. В ее задачу входит вдохнуть в меня радость жизни – задача не из легких, тем более что на первый взгляд меня в отсутствии таковой никак не упрекнешь, а до второго дело обычно и не доходит. Поболтать о том о сем – давно вошедшая в привычку и весьма полезная форма автоматизма, она продолжает действовать и тогда, когда пропало всякое желание разговаривать; я могу даже заниматься любовью при необходимости, и даже с чувством некоторого облегчения – по ночам здесь душно, выспаться все равно не получится, – но без страсти,

---

<sup>20</sup> Скуку жизни, отвращение к жизни (*лат.*).

<sup>21</sup> Про запас, на черный день (*фр.*).

но без радости.

Эти рандеву с несчастными созданиями, доведенными нуждой до последней крайности, бывают занятными, даже трогательными, пожалуй. Однако собственные чувства мне более не интересны, и дамы от Гольфо приходят ко мне, как тени на экране, лишённые объема и веса. «С женщиной можно делать только три вещи, – сказала как-то Клеа. – Ты можешь любить ее, страдать из-за нее и делать из нее литературу». Я потерпел фиаско на трех фронтах одновременно.

Я пишу все это только для того, чтобы дать понять – какой безнадежный человеческий материал выбрала Мелисса, дабы оживить, дабы вдохнуть в мои ноздри немного жизни. Ей и самой было нелегко нести двойное бремя неустроенности и нездоровья. И подставить плечо под мою ношу – немалая смелость с ее стороны. Может быть, она была смела с отчаяния, она ведь тоже добралась, подобно мне, до царства смерти. Мы были – товарищи по банкротству.

Неделю за неделей ее любовник, старый меховщик, ходил за мной следом, и карман его пальто был отчетливо оттянут пистолетом. Я немного успокоился, узнав от одного из друзей Мелиссы, что пистолет не заряжен, но этот старик постоянно висел у меня на пятках, и это меня раздражало. Не осталось, наверно, ни единого угла во всем городе, на котором мысленно мы не застрелили бы друг друга. Я просто видеть не мог этой изрытой оспой рожи, этой скотской гримасы мучимого ревностью сатира, просто не мог перенести

мысли о том, что эта жирная свинья с ней делала: у него были маленькие потные ручки, поросшие черным волосом густо, словно дикобразы. Это продолжалось достаточно долго, и несколько месяцев спустя между нами, кажется, возникло даже некое странное чувство близости. Мы улыбались друг другу и раскланивались при встрече. Однажды, встретив его в баре, я битый час простоял с ним бок о бок; мы были на грани того, чтобы заговорить, но ни у кого из нас не хватило на это смелости. Единственной общей темой разговора была бы Мелисса. Уходя, я случайно поймал глазами его отражение в одном из длинных зеркал на стене – он ссутулился и уставился в стакан. Сама его поза – нелепый вид дрессированного тюленя, пытающегося жонглировать человеческими чувствами, – поразила меня, и я впервые понял: он, может быть, любил Мелиссу не меньше, чем я. Мне стало жаль его за то, что он уродлив, за то, с какой болью и с каким детским непониманием он встретил столь непривычные ему чувства, как ревность, как ощущение измены бережно лелеемой любовницы.

Позже, когда принялись вытряхивать содержимое его карманов, я углядел среди всякой всячины маленький пустой пузырек из-под дешевых духов того сорта, которым пользовалась Мелисса; я унес его домой, где он простоял несколько месяцев на каминной полке, пока Хамид не выбросил его во время весенней уборки, Мелиссе я никогда об этом не говорил; но часто, когда я оставался один по ночам, пока она

танцевала или спала с кем-нибудь из поклонников, – я вертел эту маленькую бутылочку в руках, размышляя с грустью и горечью о жуткой стариковской любви, примерял ее на себя; и пробовал на вкус, его губами, отчаяние, заставляющее цепляться за какую-нибудь выброшенную за ненадобностью безделушку, все еще чреватую памятью о том, кто тебя предал.

Я нашел Мелиссу, как полузахлебнувшуюся птицу, вымытую морем на печальные литорали Александрии, покалеченную женскую душу...

\* \* \*

Улицы разбегаются от доков под бдительным присмотром облезлых гнилых домов, которые дышат рот в рот и в любой момент готовы рухнуть навзничь. Закрытые балконы, кишашие крысами, старухи, чьи волосы слиплись от крови раздавленных вшей. Облупленные стены пьяно клонятся на запад и восток от физических центров тяжести. Черные ленты мух липнут к глазам и губам детей, мясные мухи – как рассыпанные всюду влажные бусинки; под мертвым их весом обрываются заскорузлые полосы липкой бумаги в фиолетовых дверных проемах киосков и кафе. Запах взмыленных, истекающих потом берберок, как от сгнившей ковровой дорожки. И уличный гам в придачу: крики водоноса – копта-саидянина, звякающего металлической чашкой о чашку вме-

сто рекламы, крики, прорезающие время от времени уличный гвалт, крики, на которые никто не обращает внимания – словно потрошат какое-то маленькое изящное животное. Язвы как проруби – это вселенское средоточие человеческих горестей ошеломляет, и все твои чувства преосуществляются в отвращение и страх.

Хотел бы я воспроизвести ту спокойную логику, с которой Жюстин находила в лабиринте переулков дорогу к кафе, где ждал ее я: «Эль Баб». Дверь возле закрытой воротами арки, там мы сидели и говорили, не виноватые ни в чем: но беседы наши были уже чреватые проблесками близости – они казались нам просто счастливыми знаками дружбы. Там, ощущая ступнями быстро стынувший, отдающий тьме тепло цилиндр земли под серо-коричневой глиной пола, мы были одержимы единой страстью – сверять идеи и переживания, превосходящие уровень знаний, доступный обычным разговорам обычных людей. Она говорила как мужчина, и я говорил с ней как с женщиной. Я могу вспомнить только фактуру и вес тех разговоров, не их содержание. И, забыв про онемевший локоть, прихлебывая дешевый арак и улыбаясь ей, я вдыхал теплый летний запах ее платья и кожи – запах, который назывался – не знаю почему – *Jamais de la vie* <sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Никогда в жизни (*фр.*).



Есть мгновения, значимые для писателя, не для любовника, – они-то и длятся вечно. Ты можешь возвращаться к ним в памяти раз за разом или использовать их как фундамент и возвести на нем часть жизни – свое письмо. Ты можешь искажать их словами, но тебе не дано их испортить. Я вспоминаю один из таких моментов – он имеет отношение и ко всему сказанному тоже: я лежу рядом со спящей женщиной в дешевой комнате неподалеку от мечети. Раннее весеннее утро, влажное от обильной росы, – и, тенью брошенный на поглотившую город тишину, еще не разбуженную птицами, ловлю я хрустальный голос слепого муэдзина, он читает Эбед с минарета; голос, повисший волоском в пальмово-прохладном воздухе Александрии. «Я славлю совершенство Бога, Вечно сущего» (трижды звучит эта фраза, каждый раз все медленней, в высоком нежном регистре). «Совершенство Бога, Возделенного, Сущего, Единого, Всевышнего: совершенство Бога, Одного, Единственного: Его, что не взыскует ни мужского, ни женского себе, и ни подобного Ему, ни неподвластного Ему, ни говорящего от Его имени, равного или наследующего Ему. Да славится величие Его».

Великие слова молитвы ленивой серебряной змеей текут в мою сонную душу, кольцо за сверкающим кольцом – голос муэдзина падает от регистра к регистру волею земного тя-

готения, – покуда все утро не становится единой плотью, и волшебная сила голоса несет ей исцеление, знак благодати, незаслуженной и неожиданной, заливающей убогую комнату, где лежит Мелисса и дышит легко, словно чайка, качаясь на волнах океанского великолепия языка, так навсегда и оставшегося ей непонятным.

\* \* \*

А в Жюстин, как ни крути, была своя толика глупости. Культ наслаждения, мелкое тщеславие, забота о том, чтоб недостойные ее были о ней хорошего мнения, и при этом – надменность. Она умела быть утомительно назойливой. Да. Да. Но весь этот бурьян зреет на деньгах. Скажу только, что мыслила она зачастую так, словно была мужчиной и действовала с раскованной вертикальной независимостью, присущей мужскому взгляду на жизнь. Да и у нашей близости был странный привкус умственной конструкции. Я достаточно рано обнаружил, что она умеет читать мысли – с обескураживающей точностью. Идеи посещали нас одновременно. Я помню себя, полностью уверенного в том, что она именно сейчас формулирует мысль, только что осенившую меня, я даже помню саму эту мысль: «Нам *нельзя заходить дальше*, в ее и в моем воображении наша близость себя уже исчерпала, и я знаю, на что в конце концов мы наткнемся за темноцветным плетением чувственности – на дружбу, столь глубо-

кую, что мы навечно будем проданы друг другу в рабство». Если хотите, влюблены были наши умы и души, и флирт их изжил себя раньше времени в опыте, который казался нам куда более опасным, чем взаимная тяга плоти.

Я знал, как она любит Нессима; мне он тоже был дорог – и сама эта мысль меня напугала. Жюстин лежала рядом со мной, неподвижно глядя в густонаселенный выводком херувимов потолок, – господи, какие у нее были глаза! Я сказал: «Это же просто бессмысленно – роман между нищим учителем и александрийской светской женщиной. Ты только представь, как будет мерзко, если все кончится стандартным скандалом, ты останешься вдвоем со мной, в безвоздушном пространстве, и тебе придется думать о том, как от меня отделаться». Жюстин терпеть не может, когда ей в глаза говорят правду. Она повернулась, приподнялась на локте и, зааркавив мой взгляд чудными своими печальными глазами, долго на меня смотрела. «У нас нет выбора», – этот ее хрипловатый голос: мне еще предстояло безнадежно в него влюбиться. «Ты говоришь так, словно мы вольны выбирать. Мы не настолько сильны и не настолько злы, чтоб мы могли выбирать. Все, что происходит с нами, – только часть эксперимента, не нашего, а чьего-то еще, может быть – это город, а может – какая-то другая часть нас же самих. Откуда мне знать?»

Я помню ее сидящей перед створчатым зеркалом, у портного, на примерке шагреновой кожи костюма. Она говорит:

«Смотри! пять разных изображений одного и того же лица. Знаешь, если бы я писала, я бы попробовала добиться в персонаже эффекта многомерности – представь нечто вроде призматического зрения. Кто сказал, что человек не может повернуться к тебе несколькими профилями одновременно?»

Она зевнула и прикурила сигарету; и, сев на кровати, обхватила руками точеные свои лодыжки; и стала читать, медленно, то и дело сбиваясь, великолепные строки старого греческого поэта о давно минувшей любви – они не звучат по-английски. И, слушая, как она проговаривает его стихи, нежно касаясь каждого полного мудрой иронии греческого слога, я снова ощутил чужеродную, уклончиво-неуловимую власть города – здешнего плоского аллювиального пейзажа и разреженного воздуха – и признал в ней истинное дитя Александрии: не гречанку, не сирийку, не египтянку, но гибрид, сплетение.

И – как верно взяла она тон того отрывка, где старик отбрасывает прочь забытое любовное письмо, снова всколыхнувшее размеренный ход угасающей жизни, и восклицает: «Потом, тоскуя, вышел на балкон, чтоб мысль отвлечь, увидев сверху малую часть города, который я люблю, и суету на улицах, и магазины»<sup>23</sup>, – и вот она сама откидывает щеколду, чтобы постоять на темном балконе над цветными огнями города, отдавшись вечернему ветру, рожденному в азиат-

---

<sup>23</sup> Перевод с новогреческого С. Ошерова.

ских пределах, забыв на минуту о собственном теле.

\* \* \*

«Князь» Нессим – это, конечно же, шутка; по крайней мере для лавочников и для *commerçants* в черных костюмах, провожающих взглядом бесшумное скольжение его серебряного «роллса» с бледно-желтыми дверными ручками вдоль по Канопскому шоссе. Начать хотя бы с того, что он не мусульманин, а копт. Однако же прозвище било в точку, ибо в Нессиме и в самом деле было что-то от владетельного князя – слишком чужд он был той врожденной алчности, в которой вязнут лучшие качества александрийцев – даже самых богатых. При этом ни одна из черт, благодаря которым он завоевал репутацию личности эксцентрической, не показалась бы примечательной тем, кто живет вне Леванта. Деньги интересовали его тогда, когда нужно было их истратить, – это во-первых; во-вторых, за ним не водилось *garçonnière*<sup>24</sup>, и он, казалось, был вполне верен Жюстин – это уже было просто неслыханно. Что же касается денег, то, будучи необычайно богат, он был положительно одержим физической к ним неприязнью и никогда не имел при себе. Он тратил на арабский манер, просто оставляя владельцам магазинов от руки написанные «векселя»; рестораны и ночные клубы до-

---

<sup>24</sup> Здесь – «мальчишников» на стороне (*фр.*).

вольствовались автографом на чеках. Долги его покрывались пунктуальнейшим образом – каждое утро Селим, его секретарь, садился в машину и, взяв вчерашний след хозяйна, платил везде, где тот задолжал.

Обитатели города, склонные пусть к примитивным, но устоявшимся оценкам, а из-за убогого образования и лакейских пристрастий не подозревающие о том, что такое стиль в европейском смысле слова, сочли подобный образ жизни странным и в высшей степени вызывающим. Но Нессима привычкам этим никто не обучал – он с ними родился; в маленькой городской ойкумене, где каждый делал деньги – заученно и жадно, – он вряд ли мог сыскать подходящую ниву для духа, наделенного с рождения даром благородства и созерцательности. Меньше всего он стремился быть на виду, но самые безобидные его поступки давали почву толкам уже потому, что несли в себе явственный отпечаток его личности. Люди были склонны приписывать его манеры образованию, полученному за границей, однако Германия и Англия по большей части всего лишь привели его в замешательство и сделали негодным к жизни в Городе. Первая взрастила на гумусе природного средиземноморского ума вкус к метафизическим спекуляциям, Оксфорд же попытался сделать из него зануду, но преуспел лишь в том, что развил его склонность к философствованию до той грани, за которой он уже не мог по-настоящему заниматься своим любимым искусством – живописью. Он много думал и много выстрадал, но

чего ему недоставало, так это решимости пробовать – первого свойства художника.

В городе Нессима своим не считали, но, поскольку огромное состояние само по себе просто не могло не привести к постоянным контактам с местными деловыми людьми, им все же приходилось преодолевать окружающую его зону отчужденности – они обращались с ним с полушутливой снисходительностью, со сдержанным дружелюбием, каким даруют тех, кто несколько не в себе. Никто бы и не подумал удивиться, застав его в офисе – этаким саркофаге из полой стали и подсвеченного стекла – сиротливо сидящим за огромным столом (захламленным кнопками звонков, чертежами и затейливыми лампами) – он жует кусок черного хлеба с маслом и читает Вазари, пока рука его рассеянно ставит подписи на деловых письмах и платежных поручениях. Он поднимает голову – бледное продолговатое лицо с выражением замкнутым, отчужденным, почти умоляющим. И все же где-то за всей этой мягкостью скрывались стальные тросы, ибо те, кто на него работал, пребывали в постоянном удивлении – не было, казалось, ни единой мелочи, ему незнакомой – при всей его внешней невнимательности; каждая заключенная им сделка, как выяснялось несколько позже, была основана на тончайшем расчете. Для собственных служащих он был чем-то вроде оракула – и при этом (они вздыхали и пожимали плечами) складывалось полное ощущение, что ему ни до чего нет дела! Никакого дела до прибыли – именно это

в Александрии и считают первым симптомом безумия.

Я знал их в лицо задолго до того, как мы встретились по-настоящему, – как и любого другого человека в городе. В лицо, да еще по слухам: они многое себе позволяли, совершенно не считались с условностями и того не скрывали – как тут ускользнешь от внимания провинциальных кумушек обоего пола. О ней говорили, что у нее была куча любовников. Нессима же считали *marî complaisant*<sup>25</sup>. Несколько раз я видел, как они танцуют: он – почти по-женски стройный, с низкой талией, красивые длинные руки изящно изогнуты; изумительная головка Жюстин – по-арабски изысканная линия носа, сияющие глаза, зрачки расширены от белладонны. И взгляды, которые она бросала вокруг, – полуприрученная пантера.

А потом: как-то раз меня уговорили прочитать лекцию о поэте, единственной родиной которого был Город, – в *Atelier des Beaux Arts* (нечто вроде клуба, где не лишённые способностей дилетанты могли встречаться, снимать студии и так далее). Я согласился, ибо это означало возможность добыть немного денег на новое пальто для Мелиссы, а осень была уже на носу. Но и согласиться было трудно, слишком отчетливо я ощущал его присутствие, и сам воздух сумеречных улиц вокруг лекционного зала был словно заряжен ароматом его стихов, по капле отцеженных из пережитых им неуклюжих, но дарующих радость романов, – эта любовь, быть мо-

---

<sup>25</sup> Мужем, закрывающим глаза на неверность жены (*фр.*).

жет, и куплена была за деньги, и длилась лишь несколько минут, но его стихи обрекли ее на вечность – так свободно и нежно присваивал он каждый миг, заставлял его сиять каждой гранью. Что за нелепость, что за дерзость – почитать лекции о мастере иронии, который столь естественно и с таким безупречным чутьем подбирал свои сюжеты на улицах и в борделях Александрии! И обращаться при этом не к залу, забитому мелкими клерками и приказчиками из галантерейных магазинов – его Бессмертными, – но к знающему себе цену полукругу светских дам, для которых та культура, что за ним стояла, была чем-то вроде банка крови: они и приходили сюда за новым вливанием. Многие из них ради этого оторвались от вечернего бриджа, хотя знали, что вместо возвышенной болтовни могут получить щелчок по носу.

Я помню только, что говорил им о том, как меня преследовало его лицо – пугающе печальное и умное лицо с последней фотографии; и когда супруги уважаемых граждан города просочились – капля за каплей – вниз по каменной лестнице на вечерние влажные улицы, где их ждали освещенные изнутри автомобили, и в длинной мрачноватой комнате догорело эхо запахов их духов, я заметил, что одна взыскующая искусства и страстей душа все-таки осталась. В самом конце зала задумчиво сидела женщина, по-мужски закинув ногу за ногу, и курила, уставясь в пол, словно бы и не замечая моего присутствия. Мысль, что, по всей вероятности, хоть один человек понял, как мне было трудно, мне польстила. Я сгреб в

охапку ветхий плащ и волглый портфель и направился туда, где вылизывала улицы пришедшая с моря мелкая и вездесущая морось. Шел я к себе на квартиру, где к этому времени Мелисса, наверно, уже встала и, может быть, даже накрыла ужин на столе, застланном газетой, послав предварительно Хамида к булочнику добыть кусок жареного мяса – у нас не на чем было готовить.

На улице было холодно, и я свернул на залитую светом магазинов Рю Фуад. На витрине у бакалейщика я увидел маленькую банку маслин с надписью *Орвьето* и, в порыве внезапной зависти к тем, кто живет по нужную сторону от Средиземного моря, зашел в магазин: купил ее: попросил открыть ее прямо здесь и сейчас: и, присев за мраморный столик, залитой кошмарным неоновым заревом, начал есть Италию, ее обожженную солнцем темную плоть, ее по весне возделанную землю, ее святые виноградники. Я знал, что Мелисса этого не поймет никогда. Мне придется сказать, что я потерял деньги.

Поначалу я не заметил огромного автомобиля, который она, не выключив мотора, оставила на улице. Она вошла в магазин, быстро и решительно, и сказала тем властным тоном, которым лесбиянки и женщины со средствами разговаривают с заведомо нищими: «Что вы хотели сказать этой фразой об антиномичной природе иронии?» – или еще какую-то колкость в этом же роде, я точно не помню.

Не в силах оторваться от Италии, я раздраженно поднял

глаза и увидел, как она наклоняется ко мне сразу в трех зеркальных стенах магазина, увидел ее смуглое лицо и на лице – возбуждающую смесь заносчивости, сдержанности и интереса. Само собой, я давно забыл – что я там говорил об иронии, да я и вообще не помнил, чтобы я о чем-то лично ей говорил – я ей так и сказал, с безразличием, в котором не было и капли наигранности. Она выдохнула – кратко и с таким явным облегчением, словно я здорово ей помог, села напротив меня, закурила французскую *caporal* и принялась задумчиво расчерчивать ядовитый неоновый воздух короткими струйками дыма. Мне она показалась несколько взвинченной, еще меня слегка раздражала бесцеремонность, с которой она меня разглядывала, – словно пытаюсь решить – к чему бы меня приспособить. «Мне понравилось, – сказала она, – как вы цитировали его стихи о городе. Ваш греческий совсем неплох. Спорим, вы писатель?» Я сказал: «Спорим». До чего все-таки унизительно быть безвестным. Продолжать мне не хотелось. Я всегда терпеть не мог литературной болтовни. Я предложил ей маслину, и она съела ее быстро, как-то покошачьи выплюнув косточку в ладонь в перчатке, и сказала, продолжая держать косточку в руке: «Я хочу отвезти вас к Нессиму. Это мой муж. Вы поедете?»

В дверях уже появился полицейский, явно обеспокоенный оставленным без присмотра автомобилем. Так я впервые увидел умопомрачительный особняк Нессима – со всеми статуями и пальмами в крытых галереях, со всеми Курбе

и Боннарами – и так далее. Все это было – разом – красиво и кошмарно. Жюстин взлетела по роскошной лестнице, приостановившись только для того, чтобы переправить косточку из кармана пальто в китайскую вазу, и постоянно взывая к невидимому Нессиму. Мы шли из комнаты в комнату, шинкуя шагами тишину. Наконец он откликнулся из просторной студии на самой крыше дома, и, подбежав к нему, словно охотничья собака, она метафорически обронила меня к его ногам и отошла, виляя хвостом. Она меня заполучила.

Нессим сидел на стремянке и читал, а потом медленно спустился к нам, поглядывая то на одного, то на другого. Он был явно смущен, и я буквально всей кожей ощутил свой потрепанный плащ, мокрые волосы, банку маслин – к тому же я никак не мог сообразить, что сказать, как оправдать свое вторжение, да я ведь и вправду не знал, зачем меня сюда привезли.

Я сжалился над ним и предложил ему маслину; мы сели и вдвоем прикончили злосчастную банку, пока Жюстин рыскала в поисках чего-нибудь выпить, и говорили мы, насколько я помню, об Орвьето, где никто из нас не был. Как глоток холодного вина – это воспоминание. Никогда уже не был я так близок к ним двоим – к ним вдвоем, вместе; тогда они показались мне волшебным зверем о двух головах. Его глаза светились теплой кротостью, и, наблюдая за переливами этого света и вспоминая ходившие о Жюстин грязные сплетни, я понял: в каком-то смысле все, что бы она ни делала, она

делала для него – даже то, что было злом и ложью в глазах мира. Ее любовь была подобна коже, в которой, зашитый, покоился он, младенец Геракл; и все ее попытки прорваться к собственной сути вели к нему же, не прочь от него. Я знаю, мир не терпит подобных парадоксов; но тогда мне казалось, что Нессим знал и принимал ее именно такой, и не объяснишь этого людям, для которых любовь все еще бьется в тенетах слов, которые идут в рифму к обладанию, к власти. Однажды, много позже, он сказал мне: «А что мне оставалось делать? Жюстин была слишком сильной для меня, а сила ее – слишком разноликой. Все, на что я был годен, так это любить ее больше, чем она меня, – а уж этой масти у меня всегда была полна рука. Я бежал впереди нее – предвидел каждую ее ошибку; я всегда оказывался в нужное время в нужном месте; стоило ей только упасть, и я уже протягивал руку, чтобы помочь ей подняться и утешить ее. В конце концов, она компрометировала лишь самую жалкую из моих ипостасей – мою репутацию».

Это было много позже: разве могли мы прежде, чем коснулась нас безумная череда несчастий, знать друг друга настолько хорошо, чтобы говорить свободно. И еще: я помню, как он сказал однажды – на летней вилле неподалеку от Бург-эль-Араба: «Может быть, тебе покажется странным, но я считал Жюстин в некотором роде великим человеком. Есть, знаешь ли, такие формы величия, которые, не найдя себе применения в искусстве или религии, обращают повсе-

дневность в пустыню. Она пыталась найти себя в любви – вот ее ошибка. Конечно, у нее была масса недостатков, но это все – мелочи. И не то чтоб она никому не причиняла вреда. Но тех, кого она ранила сильнее всего, она заставляла творить. Она изгоняла людей из прежних оболочек. Естественно, было больно, и многие не понимали природы этой боли. Только не я». И, улыбнувшись своей известной на весь город улыбкой, в которой мягкость сплавлена была с невыразимой горечью, шепотом повторил: «Не я».

\* \* \*

Каподистриа... он-то здесь при чем? Для стороннего глаза он похож скорее на гоблина, чем на человека. Змеиная голова – плоская, треугольная, с выпуклым лбом; большие залысины – волосы растут чуть не гребнем. Быстрый беле-ый язык облизывает тонкие губы. Он бесконечно богат, и стоит ему только шевельнуть пальцем – и любое его желание тут же будет исполнено. День-деньской он сидит на террасе Клуба Брокеров, провожая взглядом идущих мимо женщин с беспокойным видом человека, тасующего старую засаленную колоду карт. Время от времени он тихо щелкает пальцами – хамелеон стреляет языком, – если не наблюдать за ним специально, жест почти незаметен. С террасы соскальзывает фигура, чтобы выследить указанную им женщину. Иногда его люди совершенно открыто останавливают женщин на

улице и называют его имя и сумму. В нашем городе деньгами оскорбить невозможно. Кто-то просто смеется в ответ. Некоторые соглашаются сразу. Никогда вам не увидеть и тени возмущения на этих лицах. Здесь никто не станет симулировать добродетель. Или порок. И то и другое вполне естественно.

Каподистриа, в безукоризненном драповом пальто с цветным носовым платком, небрежно торчащим из нагрудного кармана, не снисходит до всей этой кухни. Его узкие туфли сияют. Друзья называют его *Да Капо* за мужскую доблесть, почитаемую столь же невероятной, как и его богатство, – или за то, что он такой урод. Жюстин он приходится седьмой водой на киселе, и та говорит о нем: «Мне его жаль. Его сердце иссохло, и он остался с пятью чувствами, как с осколками разбитого стакана». Как бы то ни было, но столь монотонная жизнь нимало его не угнетает. У него дурная наследственность, отягощенная фамильной склонностью к самоубийству, бывали в его семье и психические расстройства, и даже полноценные заболевания. Его это, однако, не беспокоит, он дотрагивается длинным указательным пальцем до виска и говорит: «У каждого из моих предков здесь что-нибудь да соскакивало. У отца – тоже. Он был изрядный бабник. Когда совсем состарился, заказал модель идеальной женщины из резины – в натуральную величину. Зимой ее наполняли теплой водой. Поразительно, до чего была красива. Он звал ее Сабиной, в честь своей матери, и всюду таскал

с собой. У него была страсть к путешествиям на океанских лайнерах, да он фактически и провел на одном из них два последних года жизни, плавая до Нью-Йорка и обратно. У Сабины был отменный гардероб. Представьте себе, как они входили в обеденный салон при полном параде – это, я вам скажу, было зрелище. Путешествовал он на пару с сиделкой, лакеем по фамилии Келли. И Сабина, как очаровательная пьяная женщина, шествовала между ними в изумительном вечернем платье, а они поддерживали ее с двух сторон. В ту ночь, когда он умер, он сказал Келли: «Дай телеграмму Деметриусу. Скажи ему: сегодня ночью Сабиночка скончалась у меня на руках, и она таки совсем не мучилась». Похоронили ее с ним вместе, в Неаполе». В жизни не слышал смеха более естественного, чем у него, – ни намека на фальшь.

Позже, когда я совсем запутался и задолжал Да Капо кругленькую сумму, мне пришлось пересмотреть свое мнение о нем как о добром приятеле, всегда готовом прийти на помощь; как-то ночью Мелисса сидела, полупьяная, на скамеечке для ног у камина и держала в длинных чутких пальцах расписку, написанную мною на его имя – с отрывистым ро-счерком «оплачено» наискосок, зелеными чернилами... Не самое приятное воспоминание. Мелисса сказала: «Жюстин бы оплатила твой долг – она богатая. Я не желаю видеть, как ты зависишь от нее все больше и больше. Кроме того, пусть я тебе теперь и не нужна, мне все-таки хотелось что-нибудь для тебя сделать – и эта жертва была наименьшей возмож-

ной. Я не думала, что тебя это настолько заденет, если я с ним пересплю. А ты разве не делал того же ради меня – те деньги, на которые мне делали рентген и лечили, ты же взял их у Жюстин, правда? Ты мне про них соврал, но я все равно знала. Я врать не стану, я никогда не вру. На, возьми ее и порви: и никогда не имей с ним больше дела. Он – другой, не такой, как ты». И, повернув голову, она сделала арабский жест отвращения, плевка.

\* \* \*

О внешней стороне жизни Нессима – обо всех этих бесконечных утомительных приемах, поначалу посвященных чисто деловым контактам, а затем постепенно приобретших невнятный привкус политики, – я писать не хочу. Пробираясь украдкой через огромный зал к лестнице, ведущей в студию, я останавливался и рассматривал стоявший на каминной доске большой кожаный щит с планом стола, чтобы узнать, кого посадят справа от Жюстин, кого – слева. Несколько раз они любезно пытались включить меня в списки приглашенных, но я быстро от этого устал и впредь сказывался больным, хоть и рад был получить свободный доступ в студию и в библиотеку. А потом мы встречались, словно подпольщики, и с Жюстин слетала вздорная, тягостная жизнерадостность, ее обычный костюм «на публику». Они скидывали туфли, и мы резались в пикет при свечах. Позже, пе-

ред тем как идти спать, она ловила свое лицо в зеркале на нижней лестничной площадке и тихо говорила отражению: «Претенциозная, нудная, истеричная ты еврейка!»

\* \* \*

Большая парикмахерская Мнемджяна была тогда на углу улиц Фуада I и Неби Даниэль, и каждый день по утрам мы плавали здесь бок о бок в зеркалах, Помбаль и я. Нас поднимали, медленно и одновременно, затем мы тихо скользили на дно, спеленатые, подобно мертвым фараонам, чтобы вновь появиться вместе в зеркале на потолке, два распростертых тела в анатомическом театре. Темнокожий мальчик окунал нас в хрусткий холод белых простыней, а сам парикмахер уже взбивал в огромной чашке времен королевы Виктории густую сладко пахнущую пену, чтоб перенести ее на наши лица быстрыми, меткими ударами помазка. Положив первый слой, он перепоручал дальнейшее подручному, а сам брал в руки длинный кожаный ремень, висевший меж полосок липкой бумаги на задней стене парикмахерской, и принимался править лезвие английской бритвы.

Мнемджян – карлик с фиолетовым взором, в котором навсегда застыло детство. Это – воплощенная Память, ходячий городской архив. Если вам взбредет в голову узнать о происхождении или о доходах случайнейшего из прохожих – спросите у Мнемджяна; тонким мелодичным голосом он пере-

скажет вам все подробности, не переставая править бритву и пробовать ее на жестких черных волосах тыльной стороны руки. Ко всему прочему он накоротке не только с живыми, но и с мертвыми: это не метафора, ибо греческий госпиталь платит ему за то, что он бреет и приводит в подобающий случаю вид тамошних покойников, прежде чем их отдадут на растерзание похоронщикам, – работу эту он исполняет с удовольствием, есть в котором и привкус свойственной его расе богобоязненности. Его древнее ремесло вхоже в оба мира, и некоторые из самых удачных его наблюдений начинаются словами: «Как сказал мне такой-то *с последним вздохом*». Говорят, что он невероятно привлекателен для женщин, еще говорят, что у него отложена на черный день изрядная сумма – стараниями поклонниц. У него есть постоянная клиентура среди престарелых египетских дам, жен и вдов весьма влиятельных людей, к ним он регулярно ходит укладывать волосы на дом. «Уж эти-то, – говорит он лукаво, – на своем веку повидали». И, пока рука его тянется через плечо и дотрагивается до уродливого горба, добавляет с гордостью: «*Вот* что их возбуждает». Среди прочих безделушек он хранит золотой портсигар, подарок одной из поклонниц, и держит в нем запас папиросной бумаги. Его греческий небезгрешен, но достаточно прятн и забавен, и Помбаль запрещает ему говорить при себе по-французски, хотя по-французски у него получается лучше.

Он мягко и ненавязчиво заботится о моем приятеле, и

я порой поражаюсь тем поэтическим высотам, на которые ему случается ненароком забраться, расписывая достоинства своих протеже. Склонясь над луноликим Помбалем, он, к примеру, произносит, тихо и членораздельно, как только начинает шептать его бритва: «Есть кое-что для вас – нечто особенное». Помбаль ловит в зеркале мой взгляд и быстро отводит глаза из опасения, что мы заразим друг друга улыбкой. С губ его срывается осторожный смешок. Мнемджян слегка приподнимается на цыпочках, чуть скосив глаза. Его тихий, вкрадчивый голос одевает флером двусмысленности все, о чем бы он ни говорил, и речь его ничуть не теряет в занимательности от того, что вместо знаков препинания он рассыпает тихие меланхолические вздохи. Какое-то время царит молчание. В зеркале отражается Мнемджянова голова – непристойная поросль черных волос, прилипших к вискам заученными завиточками, тщетная попытка отвлечь внимание от нелепой кривобокой фигуры. Когда он работает бритвой, глаза его заволакивает дымка, лицо теряет всякое выражение и становится бесстрастным, как бутылка. Пальцы снуют по живым нашим лицам так же бестрепетно, как по лицам избранных и (пожалуй, счастливых) мертвых. «На этот раз, – изрекает Мнемджян, – вы будете восхищены с любой точки зрения. Она молодая, дешевая, чистая. Вы сами скажете перед собой – куропаточка, медовый сот, и весь его мед замкнут в нем, голубка. У нее затруднено с деньгами. Она только что сбежала из сумасшедшего дома в Хелване,

ее пытался запереть там муж по психической части. Я уготовил ей сидеть за крайним столиком на тротуаре у Розмари. Идите и сделайте взгляд в один час; если вам захочется ей к вам пойти, отдайте ей записку, что я сделаю для вас. Но помните, платить вы станете лишь мне. Как один джентльмен джентльмену – вот единственное условие, мной поставленное».

На этом он умолкает. Помбаль по-прежнему взирает на свое отражение в зеркале, и его природное любопытство отчаянно сражается с безнадежной апатией летнего воздуха. Нет, однако, никакого сомнения в том, что вечером он приглашит домой нечто истощенное и затравленное, чья перекошенная улыбка не будет вызывать в нем эмоций иных, кроме жалости. Я бы не сказал, что моему приятелю чуждо чувство сострадания, ибо он всегда пытается пристроить этих девочек хоть куда-нибудь; по-моему, большинство местных консульств укомплектовано бывшими страдальцами, безнадежно пытающимися выглядеть достойно, – местом своим они обязаны исключительно назойливости Жоржа, хорошо знакомой всем его коллегам. И все же любая женщина, сколь бы забитой, сколь бы потасканной, сколь бы старой она ни была, может рассчитывать на его снисходительную галантность – на все те мелкие знаки внимания и *sorties*<sup>26</sup> остроумия, которые я привык ассоциировать с галльским темпераментом; рассудочная мишура французского шарма, так легко пере-

---

<sup>26</sup> Здесь: «блестки» (*фр.*).

ходящего в самолюбование и лень ума – как французская мысль, что моментально растекается по формочкам для куличиков, природный *esprit*<sup>27</sup>, мигом затвердевающий в мертвых концепциях. Однако те купидоны, что так легко играют его делами и мыслями, по крайней мере придают им вид полной беззаботности, что в корне отличает их, скажем, от дел и мыслей Каподистриа – он частенько составляет нам компанию за утренним бритьем. Каподистриа обладает чисто бес-сознательным даром обращать любой предмет в женщину; под его взглядом стулья вдруг мучительно осознают, что у них обнаженные ножки. Он оплодотворяет вещи. Однажды за столом я стал свидетелем того, как он посмотрел на дыню: дыня востепенулась и ощутила содрогание жизни в каждом своем семени! Женщины теряются, как пташки перед коброй, стоит им только взглянуть на это узкое плоское лицо, на этот острый язык, облизывающий тонкие губы. Я вновь подумал о Мелиссе: *hortus conclusus, soror mea sponsor...*<sup>28</sup>

\* \* \*

«*Regard derisoire*»<sup>29</sup>, – говорит Жюстин. «Как так получается – ведь ты совсем как один из нас и в то же время... ты другой, а?» Она расчесывает свои черные волосы, в зеркале

---

<sup>27</sup> Дух (фр.).

<sup>28</sup> Ветроград заключенный, сестра моя, поручитель (мой)... (лат.)

<sup>29</sup> Взгляд иронический (фр.).

огонек сигареты вытянул из тьмы ее глаза и губы. «Ты, конечно, духовный изгнанник, раз уж родился ирландцем, но в тебе нет нашей *angoisse*<sup>30</sup>». То, что ее слова пытаются нащупать вслепую, и в самом деле вполне ощутимо, но искать следует не в нас, а в том месте, где мы все обитаем, – сонная вялость, металлический привкус выпитой крови сквозит в испарениях Мареотиса.

Она говорит, а я думаю о тех, кто вызвал этот город из небытия: о войне-боге в стеклянном гробу, юное тело в серебряной фольге плывет к своей могиле вниз по реке. Или о тяжелой квадратной голове, голове негра, в которой грохочет, перекатываясь, идея Бога, зачатая в духе чисто интеллектуальной игры, – Плотин. Такое ощущение, что дух этого места по горло занят чем-то совершенно недоступным для среднестатистического здешнего жителя – где-то далеко, где плоть, освобожденная хаосом *laisser faire*<sup>31</sup> ото всякой сдержанности, должна подчиниться закону несравненно более высокому: либо сгнуться в бессилии, столь явно заметном в шедеврах Мусейона, в бесхитростных забавах гермафродитов в зеленых тихих двориках науки и искусства. Поэзия как неуклюжая попытка искусственного осеменения муз; обжигающе глупая метафора Волос Береники, которые переливаются в ночном небе над спящим лицом Мелиссы. «Бог ты мой! – сказала однажды Жюстин. – Ну почему в

---

<sup>30</sup> Тоски, тревоги (*фр.*).

<sup>31</sup> Вседозволенности (*фр.*).

нашей распушенности нет простоты, такой, знаешь, полинезийской, что ли, простоты». Она могла бы продолжить: или средиземноморской, – потому что смысл любого поцелуя изменился бы в Италии или Испании; здесь же наши тела были до срока изношены сухим шероховатым ветром, дующим из африканских песков, и вместо любви нам была уготована более мудрая, но и более жестокая нежность ума, которая лишь обостряет одиночество, вместо того чтоб смягчить его.

Даже у самого города есть два центра тяжести – географический и магнитный полюса его неповторимости: между ними вспыхивают судьбы его обитателей, ослепительные траектории, – порою они слишком много высвечивают во тьме. Его духовный центр – потерянная ныне Сома, где лежало когда-то тело юного солдата, коему не по росту пришла взятая напрокат божественность; его полюс, пребывающий во времени, – Клуб Брокеров, где, подобно Кабалли<sup>32</sup>, хлопковые воротилы потягивают кофе, дымят вонючими манильскими сигарами и наблюдают за Каподистриа, как люди на берегу реки глазели бы на рыбака или художника. Первый символизировал для меня великие завоевания человека в царствах материи, пространства и времени, которые явно не могли не поделиться с юным завоевателем – прямо в его гробнице – своим жестоким знанием о неизбежности

---

<sup>32</sup> Кабалли – астральные тела внезапно умерших людей. «Им кажется, что они живут и действуют во плоти, в то время как в действительности они лишены физических тел и действуют лишь мысленно». Парацельс.

поражения; второй не был символом, но живым лабиринтом свободной воли, где бродила любимая моя Жюстин и с такой пугающей душевной целеустремленностью искала путеводной вспышки света, и эта вспышка должна была возвысить ее, по-новому ее осветить – для самой себя. Для нее, а она родилась в Александрии, распущенность была странной формой самоотрицания, этакой травестией свободы; и если я видел в ней воплощение города, то мне приходили на ум не Александр и не Плотин, но бедное тридцатое дитя Валентина, падшее «не подобно Люциферу, через восстание против Бога, но через слишком пылкое желание единения с Ним»<sup>33</sup>. Все чрезмерное обращается во грех.

Отлученная от божественной гармонии, она сама была виновна в своем падении, говорит сей философ-трагик, и стала манифестацией материи; и вся вселенная города и мира была создана из мук ее и раскаяния. То трагическое семя, из которого выросли ее дела и мысли, было семенем пессимистического гностицизма.

Я знаю, что не ошибся, – потому что много позже, когда она после долгих сомнений все же пригласила меня присо-

---

<sup>33</sup> «Придерживался гностической доктрины об ошибочности творения... Он рисует изначального Бога, центр божественной гармонии, проявляющего собственную суть в парных манифестациях: мужской и женской. Каждая пара стоит ступенью ниже предыдущей, и София [«Мудрость»], женская ипостась тридцатой пары, наименее совершенная из всех. Она выказала несовершенство свое не подобно Люциферу, восставшему против Бога, но через слишком пылкое желание единения с Ним. Пала через любовь». Э.-М. Форстер. «Александрия».

единиться к небольшому кружку, собиравшемуся раз в месяц вокруг Бальтазара, ему стоило только упомянуть о гностиках, и она вся обращалась в слух. Я помню, как однажды она спросила, с таким волнением, так умоляюще, правильно ли она поняла его мысль: «О том, что Бог не только не создавал нас, но и не собирался нас создавать и что мы – произведение божества низшего разряда, Демиурга, который ошибочно счел себя Богом? Господи, как это похоже на правду; и этот вселенский *hubris*<sup>34</sup>, эта самонадеянность перешла по наследству к нам, его детям». На обратном пути она остановила меня, просто-напросто встав передо мной и взяв меня за лацканы пальто, посмотрела мне прямо в глаза и спросила: «Слушай, ты вообще во что-нибудь веришь? Ты все время молчишь. В лучшем случае смеешься иногда». Я не знал, что ей сказать, поскольку все идеи кажутся мне одинаково здоровыми; сам факт их существования изобличает создающего – он есть. Они объективно верны или объективно ошибочны, разве это важно? Они недолго пребудут таковыми. «Но это же очень важно! – воскликнула она с трогательной горячностью. – Это очень важно, милый ты мой, очень!»

Мы дети земли, на которой живем; она диктует нам наши поступки и даже наши мысли в той степени, в которой наши ритмы совпадают с ее ритмами. Я не могу придумать ничего более похожего на правду. «Твои, к слову сказать, метания, в которых столько неудовлетворенности, столько жаж-

---

<sup>34</sup> Хюбрис, гордыня (древнегреч.).

ды абсолютной истины – в них так мало сходства с греческим скепсисом, со средиземноморской игрой ума, который сознательно окунается в софистику как в условия *игры*, для тебя ведь мысль – оружие, теология».

«Но как еще ты сможешь оценить человеческий поступок?»

«Его нет смысла оценивать, куда нет критерия оценки мысли; ведь сами наши мысли суть деяния. А ошибки происходят именно тогда, когда мы пытаемся оценивать то либо другое по отдельности».

Я готов был влюбиться в нее за одну ее манеру вдруг садиться на ограду или на обломок колонны, один из многих на замусоренных задворках за Колонной Помпея, и погружаться в неутолимую печаль по поводу внезапно осенившего ее прозрения. «Ты действительно так считаешь?» – спросила она с такой пронзительной тоской в голосе, что я чуть не умер на месте от искреннего сочувствия и – одновременно – от желания рассмеяться. «Ну что ты улыбаешься? Ты всегда смеешься над самыми серьезными вещами. Господи, это же так печально!» Если бы ей довелось когда-нибудь действительно заглянуть мне в душу, она бы поняла – может быть, не сразу, – что для тех из нас, кто способен глубоко чувствовать и кто осознал неизбежную ограниченность человеческой мысли, существует только один вариант ответа – ироническая нежность и молчание.

В этой ночи, исполненной звезд, где светляки отвечали

небу призрачным розово-лиловым блеском из ломкой высушенной травы, мне не оставалось ничего другого, кроме как сесть с нею рядом и гладить эту темную голову, эти великолепные волосы, и молчать. А подо всем этим, словно темная река, величественная цитата, взятая Бальтазаром сегодня в качестве темы, – он читал, и голос у него чуть дрожал, то ли от волнения, то ли оттого, что он устал от абстрактных понятий: «День для *corpora* есть ночь для *spiritus*. Как только тела завершают работу, начинают трудиться людские души. Просыпается тело, и дух погружается в сон, и сон духа есть пробуждение для тела». И, чуть погодя, как удар грома: «*Зло есть тень добра*»<sup>35</sup>.

\* \* \*

Я долго не верил, что Нессим за ней следит; в конце концов, она казалась свободной в своих метаниях по ночному городу, как летучая мышь, к тому же никогда я не слышал, чтобы ей приходилось давать отчет в своих похождениях. Да и непросто было бы уследить за ней, непредсказуемой, плоть от плоти этого города. И все же за ней приглядывали, на всякий случай, для ее же блага. Однажды вечером мне пришлось столкнуться с этим лицом к лицу, поскольку я был приглашен к ним в особняк к обеду. Когда в доме не было

---

<sup>35</sup> Цитата из Парацельса.

никого, кроме нас, обед подавали в маленьком павильоне в конце сада, где прохлада летнего вечера сливалась с шепотом воды в четырех львиных пастях по краям фонтана. В тот вечер Жюстин почему-то задерживалась, и Нессим сидел в одиночестве, отодвинув занавески к западной стене, и длинными тонкими пальцами медленно полировал желтый нефрит – он собирал камни.

Прошло сорок минут после назначенного часа, и он уже отдал распоряжение подавать на стол, когда маленькая черная отводная трубка телефона издала тонкий булавочный писк. Он подошел к столу, со вздохом поднес ее к уху, и я услышал его слегка раздраженное «да»; затем он некоторое время тихо говорил в трубку, внезапно перейдя на арабский, и у меня так же неожиданно возникло ощущение, что на том конце провода трубку держит Мнемджян. Не знаю, почему мне так показалось. Он быстро что-то нацарапал на конверте и, положив трубку, несколько секунд стоял, запоминая написанное. Потом он повернулся ко мне, и это был уже совсем другой Нессим: «Жюстин может понадобится наша помощь. Ты поедешь со мной?» И, не дожидаясь ответа, сбежал по ступенькам, мимо пруда с водяными лилиями, в сторону гаража. Я кинулся за ним, и пару минут спустя он уже выруливал на маленькой спортивной машине на Рю Фуад, мимо тяжелых распахнутых створок ворот, чтобы тут же нырнуть в паутину узких улочек, протянувшуюся вплоть до Рас-эль-Тина. Мы здорово петляли, но ехали в сторону

моря. Было в общем-то еще не поздно, но народу на улицах было мало, и мы неслись на полной скорости вдоль изгибов Эспланады в сторону Яхт-клуба, безжалостно оттирая к тротуарам редкие конные экипажи («кареты любви»), без дела слонявшиеся у моря.

У Форта мы развернулись и углубились в муравейник трущоб, лежащих за Татвиг-стрит, с непривычной яркостью выхватывая желтоватым светом фар из полумрака то битком набитое кафе, то запруженную людьми площадку, словно кадры кинохроники; откуда-то сзади, из-за близкого горизонта полуразвалившихся неоштукатуренных домов, неслись пронзительные завывания погребальной процессии, стенания профессиональных плакальщиц, способные превратить ночь в кошмарный сон. Мы оставили машину на узкой улочке возле мечети, и Нессим шагнул в темный дверной проем многоквартирного дома, наполовину состоявшего из контор с окнами, зарешеченными и закрытыми ставнями, и с неясными надписями на табличках. Одинокий *боаб* (египетский эквивалент французского *concierger*) сидел на своем наместе, завернувшись в немислимую рвань, больше всего похожий на некий неживой предмет, списанный по сроку службы (что-нибудь вроде старой автомобильной крыши), и курил короткий простенький кальян. Нессим что-то резко сказал ему и, едва ли не прежде, чем тот успел ответить, прошел сквозь узкую дверь в задний дворик, застроенный по периметру рядами ветхих домишек из необожженного кир-

пича, покрытого облупившейся штукатуркой. Он приостановился, чтобы щелкнуть зажигалкой: в ее призрачном свете мы и принялись обследовать дверь за дверью. У четвертой по счету он спрятал зажигалку и несколько раз ударил в дверь кулаком. Ответа не последовало, и он распахнул ее настежь.

Темный коридор вел к маленькой комнате, освещенной тусклым светом фитильной коптилки. По всей видимости, это и было место нашего назначения.

Сцена, представшая нашим глазам, была полна какой-то дикой оригинальности – хотя бы только из-за того, что свет, отражавшийся от глиняного пола, резко вычерчивал надбровные дуги, скулы и губы ее участников, оставляя при этом на лицах обширные пятна тени: лица были словно наполовину съедены крысами, шумно возившимися между балками этого гнусного заведения. Это был детский бордель, и в глубине комнаты, в полумраке, одетые в диковатые библейские ночные рубашки с бахромой из радужного бисера, сбилась в кучу дюжина девочек, едва ли старше десяти лет; детская мягкость, сквозившая в каждом их жесте сквозь весь этот маскарад, резко диссонировала с грубой мужской фигурой французского моряка, застывшего посреди комнаты на полусогнутых, готового прыгнуть: его плоское, искаженное яростью лицо обращено было в сторону Жюстин, стоявшей к нам в полупрофиль. Воздух уже погасил сам звук его крика, но та сила, с которой он вытолкнул слова, была еще здесь, в его перекошенной челюсти, во вздувшихся узлами мышцах

шеи. Лицо Жюстин было высвечено с тягостной академической четкостью. В поднятой руке она держала бутылку, и было совершенно ясно, что раньше ей никогда бутылку бросать не приходилось, потому что держала она ее неправильно.

В углу, на гнилом диване, уютно подсвеченном теплыми отсветами от стен, лежала одна из девочек в точно такой же ночной рубашке, как-то жутко съежившись, и по одной этой нелепой ее позе было ясно, что она мертва. Стена над диваном была усеяна голубыми отпечатками детских рук – талисман, оберегающий в этой части света дом от сглаза. Других декораций не было, обычная комната в арабском квартале.

Мы стояли неподвижно, Нессим и я, добрых полсекунды, зачарованные этой сценой, ее жутковатой красотой – как на страшной картинке, на цветной гравюре из грошовой викторианской Библии, сюжет которой непостижимым образом исказился и переместился во времени. Жюстин хрипло дышала, как обычно, когда была на грани слез.

По-моему, мы оба одновременно набросились на нее и выволокли на улицу, по крайней мере я помню только, как мы, уже доехав до моря, неслись вдоль по Корниш в чистом бронзовом свете луны и как отражалось в зеркале заднего вида печальное и сосредоточенное лицо Нессима; Жюстин молча сидела рядом с ним, глядя на серебряные разломы волн, и курила сигарету, позаимствованную из его нагрудного кармана. Потом, в гараже, прежде чем мы вышли из машины, она нежно поцеловала Нессима в оба глаза.



Теперь я склонен видеть во всем этом лишь увертюру к первой настоящей встрече лицом к лицу, когда принесшее нам столько счастья взаимопонимание – дружба и радость знать, что мы трое смотрим на мир одними глазами – случилось и стало чем-то иным, не любовью, нет – откуда бы? – но какой-то рассудочной одержимостью друг другом, в которой голод пола играл самую последнюю роль. Как мы могли допустить, чтобы чувство это стало реальностью, – мы, столь прочно связанные «нашим» опытом, мы, прошедшие уже сквозь непогоду и круговорот сезонов, нездешних любовных разочарований.

Ранней осенью по вечерам лавры беспокойно фосфоресцируют в сумерках, и сквозь летнюю пыльную одурь ощущаешь пальцы осени на лице, будто дрожат крылья бабочки, покидающей куколку. Мареотис становится лимонно-розовым, и топкие его берега расцветают теплыми звездами проросших сквозь спекшийся ил анемонов. В один прекрасный день, когда Нессим был в Каире, я позвонил в дверь его дома, чтобы взять несколько книг, и, к своему удивлению, застал в студии одинокую Жюстин, латавшую старый свитер. Она вернулась в Александрию ночным поездом, оставив Нессима сидеть на каком-то важном совещании. Мы попили чаю, а потом, подчиняясь внезапному импульсу, собрали ку-

пальные причиндалы и поехали через ржавые шлаковые холмы Мекса на песчаные пляжи за Бург-эль-Арабом, сверкающие в розово-желтом свете быстро гаснущего дня. Пустынное море глухо рокотало на мокрых песчаных коврах цвета окисленной ртути; мы говорили, и этот глубокий мелодичный ритм был частью нашей беседы. Мы брели по колено в парном молоке и суматошной ряби мелких заводов, то и дело наступая на вырванные с корнем и выброшенные морем губки. Я помню, по дороге мы не встретили никого, если не считать подростка-бедуина с проволочной клеткой на голове, полной пойманных на клей птиц. Сонная перепелка.

Мы долго лежали рядом в мокрых купальных костюмах, впитывая кожей последние тусклые солнечные лучи и ласковую вечернюю прохладу. Я прикрыл глаза, Жюстин (как ясно я ее вижу!) облокотилась на песок, глядя на меня из-под руки. Была у нее такая привычка – если я говорил, она полунасмешливо следила за моими губами, неотрывно, почти нахально, словно ждала, что я вот-вот сделаю оговорку. Если и в самом деле все началось именно в тот момент, то я, каюсь, совершенно не помню, о чем шла речь, остался только ее взволнованный хриловатый голос и одинокая фраза вроде: «А если это случится с нами – что ты на это скажешь?» Я не успел ответить, она наклонилась и поцеловала меня – поцеловала насмешливо, с вызовом, в губы. Это было так неожиданно – я повернулся к ней, не зная, смеяться мне или протестовать, – но с этой минуты ее поцелуи ста-

ли похожи на невероятно мягкие задыхающиеся удары, за-  
пятые между выдохами неудержимого смеха, в ней закипав-  
шего, – насмешливого нервного смеха. Помню, меня пора-  
зило, что она была похожа на очень напуганного человека.  
Если бы я сказал: «С нами этого случиться не может», – она  
бы ответила: «Но давай *предположим*. А вдруг?» А затем –  
вот это я помню отчетливо – ее охватила мания самооправ-  
дания (мы говорили по-французски: язык в ответе за нацио-  
нальный характер); и в промежутках между задыхающимися  
половинками секунд, когда ее сильный рот искал мои губы,  
а грешные эти смуглые руки – моих рук: «Это не похоть и не  
прихоть. Мы слишком хорошо знаем этот мир: просто нам  
нужно кое-что узнать друг через друга. Что это, а?»

Что это было? «Ну, и куда мы забрели?» – помню, спро-  
сил я, представив высокую, по-пизански нависшую над на-  
ми фигуру Нессима на фоне вечернего неба. «Не знаю», –  
сказала она с отчаянной, безнадежной покорностью, упрямо  
не желавшей покидать ее лицо и голос. «Не знаю», – и она  
прижалась ко мне, как прижимают ладонь к ушибленному  
месту. Она словно пыталась стереть в порошок самую мысль  
о моем существовании и в то же время в хрупком, дрожащем  
облачке каждого поцелуя находила некое болезненное при-  
бежище – холодная вода на растянутые связки. Как ясно в  
тот миг я видел в ней дитя Города, Города, повелевающего  
женщинам своим, от века обреченным охотницам за нечаян-  
ным, за нежеланным, вожделью не наслаждения, а боли.

Она встала и пошла прочь по длинной, изогнутой линии пляжа, медленно переходя вброд озера жидкой лавы; и я подумал о том, как из каждого зеркала в спальне ей улыбается красивое лицо Нессима. Вся сцена, только что нами разыгранная, уже обрела для меня расплывчатые контуры сна. Помню, я удивился, совершенно трезвым взглядом окинув собственные дрожащие руки, пытавшиеся прикурить сигарету; потом встал и пошел за ней следом.

Но когда я догнал ее и остановил, лицо, обернувшееся ко мне, было лицом больного демона. Ярость ее взметнулась, как спираль зиккурата. «Ты думал, я просто хотела заняться любовью, да? Господи! неужто мы этим еще не объелись? Почему ты сразу не *понял*, что я чувствую? Почему?» Она топнула ногой о мокрый песок. Нет, под ногами у нас не разверзлась каверна, скрытая под поверхностью земли, по которой мы столь уверенно ступали, – хуже. Словно обвалился во мне, в самой сердцевине, давно забытый штрек. Я понял: наш безудержный и бестолковый поток идей и чувств пробил проход к самым дремучим дебрям наших душ; и мы стали-таки сервами, рабами, обладателями тайного знания, того, которое навеки отпечаталось в нас, – а иначе ни увидеть его, ни расшифровать, ни понять – за пределами видимого спектра. (Как мало тех, кто видит в этих красках, как редко нам доводилось их встречать!) «В конце концов, – помнится, сказала она, – это не имеет ничего общего с сексом», – и я снова едва поборол желание рассмеяться, хоть и признал в

ее фразе отчаянную попытку оторвать плоть от послания, во плоть облаченного. Мне кажется, так влюбляются банкроты. Я увидел то, что давно уже должен был увидеть: наша дружба отцвела, и плод созрел: мы оказались совладельцами друг друга – на паях.

Думаю, эта мысль ужаснула нас обоих; выжатые до капли, мы не могли не испугаться подобной перспективы. Мы больше не говорили, мы пошли назад по пляжу к тому месту, где оставили одежду, молча и держась за руки. Жюстин выглядела совершенно измотанной. Мы умирали от желания поскорее друг от друга отделаться, чтобы разобраться в собственных чувствах. Мы даже не пытались говорить. Мы въехали в город, и она высадила меня, как обычно, на углу неподалеку от дома. Я захлопнул дверцу, она уехала: ни слова, ни взгляда в мою сторону.

Пока я открывал дверь квартиры, перед моими глазами все еще стоял отпечаток ее ноги в мокром песке. Мелисса читала. Взглянув на меня поверх книги, она сказала спокойно, уверенная в своей правоте – с ней часто так бывало: «Что-то случилось – что?» Я не мог ответить, я сам этого не знал. Я взял ее лицо в ладони и долго молча смотрел на нее, внимательно и нежно, с грустью и голодом, каких никогда не испытывал прежде. Она сказала: «Ты видишь не меня, а кого-то еще». Но на самом деле я видел именно Мелиссу – в первый раз. Неким парадоксальным образом именно Жюстин помогла мне увидеть настоящую Мелиссу – и понять, как я

ее люблю. Мелисса с улыбкой потянулась за сигаретой и сказала: «Ты влюбился в Жюстин», – и я ответил ей так искренно, так честно и так обжигающе больно, как только был способен: «Нет, Мелисса, много хуже», – хотя, расстреляйте меня, не смог бы объяснить почему.

Думая о Жюстин, я представлял себе большой набросок от руки, этюд феминистской карикатуры – «Освобождение от пут мужского начала». «Там, где падаль, – гордо процитировала она как-то раз из Бёме, имея в виду свой родной город, – там соберутся орлы». И действительно, было в ней в тот момент что-то орлиное. Мелисса же была похожа на печальный пейзаж маслом с натуры, зимний пейзаж, придавленный темным небом: оконная рама с тремя цветками герани, забытыми на подоконнике цементного завода.

Есть один отрывок из дневников Жюстин, который неизменно приходит здесь на память. Я привожу его перевод, хотя относится он к событиям, наверняка происшедшим задолго до всего рассказанного мной, ибо, несмотря ни на что, он почти безошибочно угадывает ту странную врожденную особенность любви, которая, как я понял, принадлежит не нам, а Городу. «Бессмысленно, – пишет она, – воображать состояние влюбленности как соответствие душ и мыслей; это одновременный прорыв духа, двуединого в автономном акте взросления. И ощущение – как беззвучный взрыв внутри каждого из влюбленных. Вокруг сего события, оглушенный и отрешенный от мира, влюбленный – он, она – дви-

жется, пробуя на вкус свой опыт; одна только ее благодар- ность по отношению к нему, мнимому дарителю, донору, и создает иллюзию общения с ним, но и это – иллюзия. Обь- ект любви – просто-напросто тот, кто одновременно с тобой разделил твой опыт, и с тем же нарциссизмом; а страстное желание быть рядом с возлюбленным прежде всего обязано своим существованием никак не желанию обладать им, но просто попытке сравнить две суммы опыта, – как отражения в разных зеркалах. Все это может предшествовать первому взгляду, поцелую или прикосновению; предшествовать ам- бициям, гордости или зависти; предшествовать первым при- знаниям, которыми обозначена точка поворота, – с этих пор любовь постепенно вырождается в привычку, в обладание – и обратно в одиночество». Как характерно это описание ма- гического дара, и как ему недостает хотя бы капли юмора: насколько оно верно... в отношении Жюстин!

«Каждый мужчина... – пишет она несколькими страница- ми дальше, и в ушах моих звучит ее хриловатый грустный голос, она пишет слово за словом и читает их вслух. – Каж- дый мужчина частью – глина, частью – демон, и ни одна жен- щина не в силах вынести и то и другое сразу».

В тот день она вернулась домой, и дома был Нессим, при- летевший дневным рейсом. Она пожаловалась, что ее лихо- радит, и рано легла спать. Когда он пришел посидеть с ней и померить ей температуру, она кое-что сказала – сказан- ное резануло его и показалось ему достаточно интересным,

чтобы запомнить, – пройдет много времени, и он повторит мне слово в слово: «Ничего интересного с медицинской точки зрения – просто простуда. Болезни не интересуются теми, кто хочет умереть». И следом один из столь типичных для нее боковых ходов мысли: ласточка круто ложится влево между небом и землей: «Боже мой, Нессим, я всегда была такой сильной. Может, именно сила и мешала мне быть по-настоящему любимой?»

\* \* \*

Тем, что в гигантской паутине александрийского света я стал ориентироваться с некоторой даже легкостью, я обязан Нессиму; мои собственные скудные доходы даже не позволяли мне зайти в тот ночной клуб, в котором танцевала Мелисса. Поначалу я несколько стеснялся вечной роли адресата Нессимовой щедрости, но вскоре мы стали такими закадычными друзьями, что я ходил с ними повсюду, нисколько не замечая денежных проблем. Мелисса раскопала в одном из моих сундуков древний смокинг и довела его до ума. В клуб, где она выступала, я в первый раз пришел вместе с ними. Было что-то противоестественное в том, что я сидел между Жюстин и Нессимом и смотрел, как белый луч прожектора сквозь снегопад пылинок метнулся вниз и выхватил Мелиссу, совершенно незнакомую под слоем грима, придавшего ее тонким чертам оттенок будничной и непри-

стойной вульгарности. Банальность ее танца ужаснула меня, банальность почти запредельная; однако, глядя на нерешительные и неудачные движения ее стройного тела (картинка – газель, привязанная к водяному колесу), я чувствовал, что влюблен в эту ее заурядность, в то оцепенелое самоуничижение, с которым она кланялась в ответ на равнодушные аплодисменты. Немного погодя ее заставили обходить посетителей с подносом и собирать для оркестра мзду, она занималась этим с безнадежной робостью и подошла к нашему столику, опустив глаза под жуткими накладными ресницами, и руки у нее дрожали. Тогда мои друзья еще не знали, что между нами что-то есть; но я заметил удивленный и насмешливый взгляд Жюстин, когда выворачивал карманы и выискивал те несколько несчастных бумажек, что бросил на поднос руками, дрожащими не меньше, чем руки Мелиссы, – так остро я ощутил ее смятение.

Позже, когда я вернулся домой, слегка навеселе и приятно возбужденный последним танцем с Жюстин, я застал ее все еще на ногах – она грела чайник на электрической плитке. «Слушай, ну зачем, – сказала она, – зачем ты положил все деньги на этот дурацкий поднос? Недельный заработок; ты что, с ума сошел? Что мы завтра будем есть?»

С деньгами не умели обращаться ни она, ни я, и все же вместе мы обходились несколько лучше, чем порознь. Ночью, возвращаясь пешком из ночного клуба, она останавливалась в аллее у самого дома и, если свет в моем окне

еще горел, тихонько свистела, а я, услышав сигнал, откладывал книгу в сторону и осторожно крался вниз по лестнице и видел, будто наяву, ее губы, сложенные, чтобы дать жизнь этому легкому влажному звуку, словно в ожидании мягкого прикосновения кисти. В то время старик меховщик все еще продолжал назойливо ее домогаться и шпионил за ней на улицах – сам или с помощью своих людей. Ни слова не говоря, я брал ее за руку, и мы исчезали в путанице переулков около польского консульства: время от времени мы останавливались в темной подворотне и ждали, нет ли за нами на хвосте. И наконец на берегу, где магазины растворялись в синей дымке, мы ступали на лунную дорожку молочно-белой александрийской полночи, и мягкий теплый воздух смывал с нас дневные горести; мы шли за утренней звездой, трепетавшей на черной бархатной груди Монтазы, под тихой лаской волн и ветра.

В те дни тихая и совершенно обезоруживающая кротость Мелиссы была раскрашена в цвета заново открытой юности. Ее длинные неуверенные пальцы – я чувствовал, как они касались моего лица, когда ей казалось, что я уже сплю, – словно пытались на ощупь запомнить очертания нашего счастья. Были в ней какая-то чисто восточная гибкость, податливость, желание услужить, перерастающее в страсть. Мой убогий гардероб – нужно было видеть, как она поднимала с полу грязную рубашку, излучая всепроникающие волны заботы; по утрам я находил свою бритву девственно чистой

и даже на зубной щетке уже лежала в ожидании колбаска зубной пасты. Ее забота обо мне была приманкой, попыткой спровоцировать меня на то, чтобы я придал своему существованию хоть какую-то форму, стиль, который мог бы соответствовать ее нехитрым требованиям к жизни. О своих прежних связях она никогда не рассказывала и обрывала любой разговор на эту тему устало и даже несколько раздраженно, так что, скорее всего, то были плоды необходимости, отнюдь не страсти. Однажды она одарила меня комплиментом, сказав: «В первый раз в жизни я не боюсь быть легкомысленной и глупой с мужчиной».

Мы были бедны, и это тоже сближало. На выходные мы ездили за город, по большей части то были обычные в провинциальном городе у моря экскурсии. Маленький жестяной трамвай вез нас, пронзительно визжа на поворотах, на песчаные пляжи Сиди Бишра, мы проводили Шем-эль-Нессим в садах Нуга, устроившись в траве под олеандрами в окружении нескольких дюжин скромных египетских семейств. Неизбежная и назойливая толпа одновременно развлекала нас и сближала. Мы бродили вдоль затхлого канала, наблюдая, как мальчишки ныряют за монетками в самую тину, или ели ломтики дыни, купленные у лоточника, счастливые анонимы в праздничной толпе. Сами имена трамвайных остановок отзываются поэзией тех поездок: Чэтби, Лагерь Цезаря, Лоранс, Мазарита, Глименопулос, Сиди Бишр...

Была и обратная сторона медали: приходя домой позд-

но ночью, я заставлял ее спящей – перевернутые красные тапочки, и на подушке рядом с ней – маленькая трубка для гашиша... Это был сигнал: очередная депрессия. В таком состоянии она пребывала по нескольку дней, бледная, ко всему безразличная, совершенно изможденная, и сделать с ней хоть что-то было абсолютно невозможно. Она говорила сама с собой, целые монологи; часами, зевая, слушала радио или методично перелистывала кипы старых киножурналов. В такие дни, когда на нее нападал обычный александрийский *cafard*<sup>36</sup>, я с ума сходил, пытаюсь хоть как-то ее развлечь. Она лежала, глядя вдаль, сквозь стену, подобно древней сивилле, и повторяла, глядя мое лицо, снова и снова: «Если бы ты знал, как я жила, ты бы меня бросил. Я не та женщина, которая тебе нужна, и вообще ни одному мужчине такая... Я так устала. Ты добрый, но только зря ты со мной связался». Если я пытался протестовать, говорил, что доброта здесь ни при чем, что я люблю ее, она отвечала с усталой гримасой: «Если б ты любил меня, то давно отравил бы, чтобы не мучилась». Затем она начинала кашлять так, словно легкие выворачивались наизнанку, и, не в силах этого вынести, я выходил на улицу, темную и провонявшую арабами, или шел в библиотеку Британского совета покопаться в справочниках: там жил дух британской культуры, дух скупости, бедности, умственной зашоренности – там я проводил вечер в полном одиночестве, благодарный за тихую благодать при-

---

<sup>36</sup> Сплин, хандра (*фр.*).

лежного шороха страниц и приглушенного гула.

Но бывали и иные времена: пропитанные солнцем полдни – «потеющие медом», как говаривал Помбаль, – когда мы лежали рядом, одурманенные тишиной, и смотрели, как едва заметно дышат светом желтые занавески – легкие выдохи Мареотиса разбегаются по альвеолам города. Затем она поднималась и смотрела на будильник, предварительно встряхнув его и внимательнейшим образом выслушав: садилась нагая за туалетный столик, чтобы закурить сигарету, – красивая и молодая, поднимала тонкую руку, чтобы еще раз полюбоваться в зеркале дешевым мной подаренным браслетом. («Да, я смотрю на себя, но это помогает мне думать о тебе».) И, отвернувшись от этого хрупкого алтаря, шла через всю комнату в уродливую судомойню рядом с кухней, мою единственную ванную комнату, и, стоя возле грязной жестяной раковины, мылась быстрыми точными движениями, втягивая воздух сквозь зубы – вода была холодная, – пока я лежал, впитывая тепло и сладость подушки, на которой только что покоились ее голова, ее темные волосы: глядя на ее забытых греческих пропорций лицо – чистая линия острого носа и ясные глаза, атласная кожа, привилегия тех, у кого проблемы с щитовидной железой, и родинка на изгибе длинной стройной шеи. Такие мгновения счету не подлежат, не поддаются материи слова; они живут в перенасыщенном растворе памяти, подобно удивительным существам, единственным в своем роде, поднятым сетью со дна неведомого нам океана.

Сегодня думал о том лете, когда Помбаль решил сдать квартиру Персуордену, чем отнюдь меня не обрадовал. Персуорден был писатель, и я терпеть его не мог из-за резкого контраста между тем, какой он был, и тем, что он писал – по-настоящему сильные стихи и прозу. Мы были едва знакомы, но его романы приносили по крайней мере хорошие деньги, чему я завидовал, а долгие годы подобавшей ему, согласно статусу, светской жизни развили в нем этакие *savoir faire*<sup>37</sup>, которым я, беспомощный в свете, тоже завидовал. Он был умен, светловолос и высок ростом и производил впечатление юного джентльмена, уютно обустроившегося в материнском чреве. И не то чтобы он не был порядочным человеком или просто хорошим парнем – был наверняка, – просто меня раздражала сама перспектива жить под одной крышей с персонай, решительно мне неприятной. Однако перспектива поиска другой квартиры казалась мне еще менее заманчивой, и я согласился за меньшую плату жить в каморке в конце коридора и пользоваться вместо ванной маленькой чумазой судомойней.

Персуорден мог себе позволить быть душой общества, и раза два в неделю я подолгу не мог заснуть из-за перезво-

---

<sup>37</sup> Светские манеры (*фр.*).

на бокалов и смеха за стеной. Однажды ночью, достаточно поздно, в мою дверь постучали. В коридоре стоял Персуорден, бледный и весь какой-то взъерошенный – выглядел он так, будто им пальнули из пушки и попали в авоську. Рядом с ним стоял толстый флотский маклер с весьма отталкивающей физиономией – впрочем, он сошел бы за родного брата всех флотских маклеров; у них такие рожи, словно их продают в рабство в самом нежном возрасте. «В общем, так, – сказал Персуорден неестественно громко. – Помбаль говорил мне, что вы работали врачом; может, взглянете, у нас там человеку плохо, а?» Я как-то раз обмолвился Помбалью, что проучился полгода на медицинском, и в результате превратился в его глазах в профессионала, доктора в полной боевой раскраске. Он не только сделал меня поверенным во всех своих недомоганиях – однажды он до того дошел, что принялся упрашивать меня сделать кому-то «ради него» аборт у нас же, прямо на обеденном столе. Я поспешил заверить Персуордена, что никакой я не доктор, и дал ему нужный номер телефона, однако телефон не работал, а добудиться *баба* не было никакой возможности, так что скорее из вялого любопытства, чем из гуманных соображений, я накинул макинтош поверх пижамы и вышел в коридор. Вот так мы и встретились!

Я открыл дверь и на секунду зажмурился от дыма и яркого света. Вечеринка явно была не из обычных, потому что в комнате были только три или четыре убогих флотских кадета

да проститутка из ресторанчика Гольфо, благоухавшая подмышками и тафией<sup>38</sup>. Она как-то неестественно нависла еще над одной фигурой, сидевшей в углу дивана, – сейчас в этой фигуре я узнаю Мелиссу, тогда же она показалась мне неумелой подделкой под греческую комическую маску. Мелисса, кажется, бредила, но беззвучно, потому что голос у нее пропал, – и выглядела она как фильм о себе самой без звуковой дорожки. Черты ее запали. Вторая женщина, постарше, явно была в панике, она дергала ее за уши, тянула за волосы; один из кадетов неумело брызгал водой из богато украшенного ночного горшка – из числа тех сокровищ Помбаля, коими он особенно гордился: на доньшке красовался французский королевский герб. За пределами видимости кого-то медленно, с липким маслянистым звуком рвало. Персуорден стоял со мной рядом, обозревая сцену, и выглядел весьма пристыженным.

Мелисса обильно потела, волосы прядками прилипли к вискам; как только мы прорвали кольцо ее мучителей, она снова растворилась в беззвучной мелкой дрожи, и на лице ее застыла маска непрерывного немого крика. Разумнее всего было бы выяснить, где она перед тем была, что пила и ела, но одного взгляда на бормочущую, истекающую пьяными слезами компанию за спиной было достаточно, чтобы понять – толку от них никакого. Тем не менее я зацепил ближайшего ко мне паренька и даже начал его допрашивать, но тут шлю-

---

<sup>38</sup> Тафия – египетский тростниковый самогон.

ха от Гольфо, давно уже впавшая в истерику и сдерживаемая доселе одним лишь маклером (он обхватил ее сзади), начала кричать хриплым сдавленным голосом: «Испанка! Это он ее заразил!» И, выскользнув из рук своего поимщика каким-то крысиным манером, она схватила свою сумочку и звучно за-светила одному из морячков по кумполу. Сумочка, должно быть, набита была гвоздями – во всяком случае, он тут же медленно опустился на пол, как боксер в нокдауне; когда он поднялся, в волосах у него застряли осколки фаянса.

Затем она принялась рыдать в голос, густым бородатым басом, и звать полицию. Моряки сгрудились вокруг нее, растопырив тупые пальцы, уговаривая, упрашивая, умоляя ее замолчать. Никому не хотелось связываться с военно-морским патрулем. Ни одному из них, однако, так и не удалось избежать удовольствия получить по черепу сумой Прометея, битком набитой презервативами и пузырьками с белладонной. Она отступала осторожно, шаг за шагом. (Тем временем я нащупал Мелиссин пульс и, содрав с нее блузку, выслушал сердце. Я начинал по-настоящему за нее беспокоиться и заодно за Персуордена, который занял стратегическую позицию за креслом и делал оттуда всем и каждому красноречивые жесты.) К этому времени веселье достигло апогея, ибо морячки наконец загнали рычащую барышню в угол, – но, к несчастью, за спиной у нее оказался декоративный шертонский шкафчик, служивший обиталищем трепетно обожаемой Помбалем коллекции керамики. Ее руки, шарившие за

спиной в поисках оружия, наткнулись на почти неисчерпаемый резерв боеприпасов, и, выпустив с хриплым победным кличем из рук сумочку, она принялась метать фарфор с кучностью и точностью, подобных которым мне видеть не доводилось. Воздух в мгновение ока был полон египетских и греческих «слезных бутылочек»<sup>39</sup>, ушебти<sup>40</sup> и севра. Жуткой той минуты, когда привычно загрохочут в дверь подкованные гвоздями ботинки, явно оставалось ждать весьма недолго, ибо в окнах соседних домов уже зажигали свет. Персурден откровенно нервничал – как дипломат и, тем более, как знаменитость он вряд ли мог позволить себе скандал, – а египетская пресса вполне способна раздуть скандал из подобной истории. Он, однако, утешился, как только я махнул ему рукой и принялся заворачивать почти бесчувственную к тому моменту Мелиссу в мягкий бухарский ковер. С ним вдвоем, пошатываясь, мы пронесли ее по коридору в благословенную тишину моей каморки, где, как Клеопатру, мы ее развернули и уложили на кровать.

Я вспомнил о существовании старого доктора, грека, обитавшего на нашей же улочке, и вскоре уже тащил его вверх по темной лестнице, пока он спотыкался и ругался на теат-

---

<sup>39</sup> Атрибут древневосточных, античных и некоторых более поздних европейских погребальных церемоний. Бутылочки из темного стекла, которые подносились плакальщиками к глазам – движение, долженствующее имитировать сбор слез.

<sup>40</sup> Древнеегипетская статуэтка, прислужник, который в царстве мертвых должен выполнять за обладателя всю необходимую работу.

ральной демотике, то и дело роняя катетеры и стетоскопы. Он объявил Мелиссу и в самом деле тяжелобольной, хотя диагноз его отличался многословием и расплывчатостью – в традициях города. «Тут все что угодно, – сказал он, – недоедание, истерия, алкоголь, гашиш, туберкулез, испанка... на ваш выбор», – он сунул руку в карман и достал ее полной воображаемых недугов, из коих мне и предложено было выбрать. При всем том он оказался человеком весьма практичным и обещал, что через день для нее будет готова койка в греческом госпитале. Пока же перемещать ее не позволялось.

Эту ночь я провел на кушетке в ногах кровати и следующую тоже. Пока я был на работе, Мелисса перепоручалась заботам одноглазого Хамида, милейшего из берберов. Первые двенадцать часов действительно дались ей тяжело, временами она бредила, с ней случались мучительные приступы слепоты – мучительные потому, что она боялась и в самом деле ослепнуть. Но мы были нежны с ней и суровы, и общими усилиями вдохнули в нее смелость преодолеть самое худшее, и на вторые сутки к полудню она настолько окрепла, что уже могла говорить, шепотом. Доктор-грек провозгласил, что он доволен течением болезни. Он спросил ее, откуда она родом, и на ее лице появилось загнанное выражение, когда она сказала «Смирна»<sup>41</sup>; ни фамилии, ни адреса родите-

---

<sup>41</sup> То есть семья с большой долей вероятности стала жертвой Смирнской резни в сентябре 1922 года.

лей от нее так и не удалось добиться, а когда он попытался на нее нажать, она отвернулась к стене и на глазах у нее медленно выступили слезы бессилия. Доктор взял ее руку и внимательнейшим образом изучил безымянный палец. «Взгляните, – произнес он с поистине клинической бесстрастностью, демонстрируя мне отсутствие всяких следов кольца, – вот в чем дело. Семья от нее отказалась, и ее просто выгнали из дому. Теперь это не редкость...» – и он сочувственно покачал над ней своей лохматой головой. Мелисса ничего не сказала, но когда приехала «скорая помощь» и санитары принялись раскладывать на полу носилки, она поблагодарила меня за помощь, прижала руку Хамида к своей щеке и удивила меня редкой галантностью, от которой жизнь давно уже меня отучила: «Если у тебя не будет девушки, когда я выпишусь, подумай обо мне. Если ты позовешь меня, я приду к тебе»<sup>42</sup>. Я не знаю, как не унижить английским галантную прямоу греческого.

Итак, я потерял ее из виду на месяц, может, и больше; я в самом деле забыл о ней и думать, мне в то время было чем занять голову. Но вот однажды бездумным жарким днем, когда я сидел у окна, наблюдая, как город медленно разглаживает морщины сна, я увидел совершенно иную Мелиссу – она спустилась по улице и зашла в полумрак моего подъезда. Она постучала в дверь и вошла с полными руками цветов, и в одно мгновение я понял, что от того забытого вечера меня

---

<sup>42</sup> Греческий текст: 'Όταν θά βγω, άν δέν έχης φίλενάδα, φώναξέ με.

отделяют столетия. В ее движениях сквозила робость, сходная с той, с которой позже она собирала деньги для оркестра в ночном клубе. Она была похожа на статую Гордости с поникшей головой.

Меня одолел изнурительный приступ предупредительности. Я предложил ей стул, и она присела на краешек. Цветы были для меня, в самом деле, но у нее никак не хватало духу сунуть мне в руки букет, и некоторое время я наблюдал, как она загнув озирается в поисках подходящей вазы. Под рукой был только эмалированный таз, полный полуошкуренных картофелин. Я уже начал жалеть, что она пришла. Я бы предложил ей чаю, но мой кипятильник сломался, а денег на то, чтобы повести ее куда-нибудь, просто не было – в то время я катился под гору и увязал в долгах все глубже. Вдобавок ко всему я только что услал Хамида отдать в утюжку мой единственный летний костюм, и на мне был только дражный халат. Она же сильно изменилась – в лучшую сторону – и была почти пугающе красива в новом летнем платье, прозрачном и хрустком, с узором из виноградных листьев, и в соломенной шляпке, похожей на большой золотой колокольчик. Я начал судорожно молиться про себя, чтобы поскорей вернулся Хамид и хоть как-то разрядил обстановку. Я хотел было угостить ее сигаретой, но моя единственная оставшаяся пачка оказалась пуста, и мне пришлось взять одну из ее собственных, из маленького филигранного портсигара, всегда при ней состоявшего. Я закурил и, надеясь, что выгля-

жу достаточно непринужденно, принялся рассказывать ей о том, что мне предложили новую работу неподалеку от Сиди Габра и что это позволит мне зарабатывать немного больше. Она сообщила мне, что снова выходит на работу; контракт с ней возобновили, но денег теперь платить станут меньше. Еще несколькими тягостными минутами позже она сказала: ей уже пора, потому что ее звали на чашку чая. Я проводил ее до лестничной площадки и пригласил непременно заходить в любое удобное время. Она поблагодарила меня, продолжая тискать в руках цветы, и, так и не решившись сунуть их мне, медленно пошла вниз. Как только за ней затворилась дверь, я вернулся к себе, сел на кровать и выложил весь запас мата, какой смог вспомнить на четырех языках, – хотя мне было не совсем ясно, кому, собственно, я сие адресую. Когда, шаркая ногами, явился наконец Хамид, я все еще был не в себе и сорвал злость на нем. Это здорово его встревожило: я давно уже на него не срывался; и он удалился на судомойню, причитая шепотом, качая головой и призывая в помощь духов.

Я оделся, занял у Персуордена немного денег и по пути на почту – я шел отправить какое-то письмо – снова увидел Мелиссу, одиноко сидящую в уголке кофейни, подперев подбородок руками. Шляпка и сумочка лежали рядом, она пристально глядела в кофейную чашку – отрешенно, задумчиво и удивленно. Я круто повернул, зашел в кофейню и сел рядом. Я пришел, сказал я, извиниться за столь отвратительный прием, но дело в том... и я стал описывать обстоятель-

ства, в которых оказался, ничего не пытаюсь приукрасить. Сломанный кипятильник, уход Хамида, мой летний костюм. Как только я принялся перечислять горести, меня одолевшие, они стали казаться мне отчасти даже забавными; я слегка сместил угол зрения и продолжил свою повесть со скорбью и гневом, и она рассмеялась – мне редко доводилось слышать смех настолько восхитительный. По поводу долгов я врал с чистой совестью, хотя с той самой скандальной ночи Персуорден всегда и безо всяких колебаний готов был при случае поверить мне в долг. И в довершение всех бед, сказал я, она появилась как раз тогда, когда я едва-едва оправился от несерьезного, но чрезвычайно пакостного венерического заболевания – прямого результата заботливости Помбаля, – вне всякого сомнения подхваченного от одной из предусмотрительно оставленных им в наследство сириек. Это тоже была неправда, но я уже не мог остановиться. Меня привела в ужас, сказал я, одна только мысль о том, что дело может дойти до постели. Тут она протянула руку и опустила ее на мою ладонь, все еще смеясь, сморщив нос: смеялась она так искренне, так легко и просто, что прямо там и тогда я решил в нее влюбиться.

Мы бродили вдоль моря в тот день, и разговоры наши были полны осколков жизней, прожитых без плана, без цели, без архитектуры. Наши вкусы не совпали ни разу, о чем бы ни зашла речь; у нас были совершенно разные характеры и наклонности, но мы чувствовали в волшебной простоте этой

дружбы нечто давно нам обещанное. И еще я люблю вспоминать тот первый поцелуй у моря и ветер, перебиравший пальцами локоны на мраморных ее висках, – поцелуй, раздробленный смехом, напавшим на нее при воспоминании о перенесенных мною тяготах. Хороший символ для того, что было между нами, – страсть без напряжения, окрашенная юмором: любовь милосердная.

\* \* \*

Два вопроса, приставать с которыми к Жюстин было совершенно бессмысленно: ее возраст, ее происхождение. Никто – сдастся мне, и Нессим в том числе – не мог сказать с полной уверенностью, что он знает о ней все. Даже городской оракул Мнемджян в виде исключения разводил руками, хотя он многое мог бы порассказать об ее недавних любовных похождениях. Он говорил о ней и щурил фиолетовые глаза, а потом как один из возможных вариантов осторожно предлагал такие сведения: она родилась в перенаселенном квартале Аттарин в бедной еврейской семье, успевшей с тех пор уехать в Салоники. На дневники здесь тоже надежда слабая, ибо они лишены ключей – имен, дат, мест, – там по большей части плещут буйные фонтаны фантазии, и их блеск лишь кое-где прочерчен пунктиром маленьких колких сюжетов и жестких эскизных портретов с каких-то людей, упрятанных под буквы алфавита. Французский, на котором она пишет,

не слишком строго следует принятым правилам, но зато в нем есть одушевленность и своеобразный яркий вкус; есть в нем и явный отзвук бесподобных хрипловатых модуляций ее голоса. Вот смотрите: «Клеа говорила о своем детстве: думала о моем, страстно думала. Детство моей расы, моя эпоха... Сперва подзатыльники в хибаре за Стадионом; лавчонка часовщика. Ловлю себя сейчас на том, что смотрю, застыв и забыв себя, на лицо спящего рядом мужчины, точно так же я смотрела и на него, склонившегося над сломанным хронометром, и резкий свет беззвучно его обтекает. Подзатыльники, и ругань, и разбросанные по красным глиняным стенам (будто подзатыльники, розданные незримой рукою духа) синие отпечатки ладоней – пальцы расставлены, – оберегавшие нас от сглаза. С этими подзатыльниками мы выросли, большие головы, уклончивые взгляды. Дом в тусклом свете плавающих в масле фитилей, крысы на земляном полу, кажется, что пол шевелится. Старый ростовщик, пьяный, и храпит во сне, и втягивает с каждым вдохом запах тлена – грязь, экскременты, высохший помет летучих мышей; канавы, забитые листьями и корками хлеба, размокшими в моче; венки из желтого жасмина, шальные и бутафорские. Теперь добавим крики за чужими ставнями на той же кривобокой улочке: бей бьет жен, оттого что импотент. Старая травница, торгующая, что ни ночь, собой на утопанной площадке меж снесенными домами – собачий скулеж, настораживающий и унылый. Мягкий влажный звук босых черных ног

по спекшейся глине поздно ночью на улице. Наша комната, набухшая темнотой и чумой, и мы, европейцы, чуждые этой жуткой животной гармонии живучей черной плоти вокруг нас. Совокупления боабов сотрясают дом, как пальму. Черные тигры с мерцающими клыками. И повсюду паранджи, и вопли, и сумасшедший смех под перечными деревьями, безумие и прокаженные. Все то, что дети видят и собирают про запас, чтоб крепко выстроить свои будущие жизни – или пустить их по ветру. На улице перед домом упал верблюд, загноили. Он был слишком тяжелый, чтобы тащить его на живодерню, и вот пришли с топорами двое мужчин и стали рубить его на куски прямо на улице, живого. Они рубили живое белое мясо – и бедное животное выглядело еще более измученным, более гордым и более удивленным, когда ему отсекли ноги. Вот еще живая голова, открытые глаза и озираются вокруг. Ни звука протеста, ни попытки защититься. Животное умирает как пальма. Но потом еще несколько дней глина на улице была пропитана его кровью и красила красным наши босые ноги.

Монеты падают в жестянки нищих. Обрывки всех наречий – армянский, греческий, амхарский, марокканский арабский, евреи из Малой Азии, из Понта и Грузии: матери, рожденные в греческих поселках на Черном море; общины, обрубленные, как ветви деревьев, лишённые родного ствола, тоскующие по Эдему. Вот бедные кварталы белого города; ничего похожего на чистые прямые улицы, построенные

и украшенные иностранцами, где маклеры сидят и потягивают не спеша свои утренние газеты. Даже гавани для нас, здешних, не существует. Зимой, иногда, редко, слышен рев сирены – но то другая страна. Ах, тоска по гаваням и странным именам у тех, кому некуда ехать. Это похоже на смерть – и умираешь всякий раз, как произносишь слово – *Александрия, Александрия*».

\* \* \*

Рю Баб-эль-Мандеб, Рю Абу-эль-Дардар, Минет-эль-Басаль (улицы, скользкие от пуха, списанного в расход на хлопковых рынках), Нуга (розовые сады, несколько памятных поцелуев) или – остановки автобуса с въевшимися в память именами: Саба Паша, Мазлум, Зизиния Бакос, Шутц, Гианаклис. Город становится миром, когда ты любишь одного из живущих в нем.

\* \* \*

Мои частые визиты в их дом имели последствия. Меня начали замечать и дарить вниманием те, кто считал Нессима влиятельным человеком и полагал, что раз уж он тратит на меня свое драгоценное время, то и я тоже каким-то никому не ведомым образом должен быть не то богат, не то

как-то по-особенному изыскан. Однажды днем, во время сис-  
темы, ко мне в комнату вошел Помбаль и присел на кровать.  
«Слушай сюда, – сказал он. – Тебя начали замечать. Конечно,  
чичисбей в Александрии – фигура привычная, но у тебя  
появится масса новых хлопот, если ты будешь так часто по-  
казываться на публике с этой парочкой. Смотри-ка!» И он  
подал мне большой аляповатый кусок картона с напечатан-  
ным на нем приглашением на коктейль во французское кон-  
сульство. Я непонимающе пробежал глазами текст. Помбаль  
продолжил: «Глупость невероятная. Мой шеф, генеральный  
консул, втрескался в Жюстин. Пока что из его попыток с ней  
встретиться ничего не выходит. Его шпионы ему доносят,  
что ты вхож в дом и даже что ты... Понимаю, понимаю. Но  
все же он надеется рано или поздно занять твое место». Он  
тяжело засмеялся. Ничего более абсурдного, как мне тогда  
показалось, он сказать не мог. «Передай генеральному кон-  
сулу», – сказал я... и прибавил от всей души пару фраз, за-  
ставивших Помбаля с сожалением прищелкнуть языком и  
покачать головой. «Я бы с удовольствием, – сказал он, – од-  
нако, мон шер, между дипломатами в ходу китайские цере-  
монии, совсем как на птичьем дворе. А от него зависит, по-  
лучу я свой маленький крестик – или нет».

Сбросив груз с плеч, он достал из кармана потрепанную  
маленькую книжицу в желтой обложке и положил ее мне на  
колени. «Вот это тебя, пожалуй, заинтересует. На заре ту-  
манной юности Жюстин была замужем за одним француз-

ским подданным, албанцем по происхождению, писателем. Этот маленький роман – о ней, своего рода медицинское вскрытие; кстати, очень мило написано». Я повертел книгу в руках. Она была озаглавлена *Moeurs*<sup>43</sup> и принадлежала перу некоего Жакоба Арноти. Судя по выходным данным, она выдержала несколько переизданий в начале тридцатых. «Откуда ты это выкопал?» – спросил я; Жорж подмигнул круглым глазом, с тяжелым, как у рептилии, веком, и ответил: «Мы наводили справки. Консул думать не может ни о чем другом – одна Жюстин, – и весь наш штат вот уже несколько недель занимается исключительно добыванием информации о ней. *Vive la France!*»

Когда он ушел, я, все еще в полусне, принялся листать *Moeurs*. Роман и в самом деле был очень неплохо написан, от первого лица, и представлял собой дневник александрийской жизни начала тридцатых годов, глазами иностранца. Автор дневника занят сбором материала для будущего романа – и отчет о его александрийских трудах и днях сделан достаточно тонко и точно; но что меня действительно захватило, так это портрет молодой еврейки, которую он здесь встречает: женится на ней: увозит ее в Европу: разводится. Крах этого брака по возвращении в Египет написан на одном дыхании, с необычайной ясностью виденья ситуации, и характер Клодии, его жены, вышел чрезвычайно рельефным. И вот я с удивлением и радостью увидел в ней карандашный

---

<sup>43</sup> Нравы (фр.).

набросок Жюстин: я понял бы, что это она, даже если Помбаль ничего бы мне не сказал; она, конечно, была моложе и не настолько уверена в себе, но это была она. Кстати, когда бы я ни читал эту книгу, а я читал ее часто, я постоянно ловил себя на том, что автоматически прочитываю вместо Клодии – Жюстин. Сходство было невероятное.

Они встретились там же, где я впервые ее увидел, в сумрачном вестибюле отеля «Сесиль», в зеркале. «В вестибюле этой отжившей свой век гостиницы зеркала в позолоченных рамах ловят и ломают пальмовые листья. Только богатые могут позволить себе жить здесь постоянно – те, кто обитает в позолоченных рамах обеспеченной старости. Я ищу комнат подешевле. Сегодня в холле торжественно заседает маленький кружок сирийцев, неповоротливых, в темных костюмах, желтолицых под красными фесками. Их бегемотоподобные, слегка усатые дамы уже удалились, позвякивая драгоценностями, спать. Овальные лица мужчин, мягкие и любопытные, и женоподобные их голоса кружат вокруг бархатных футляров – каждый из александрийских маклеров носит при себе в шкатулке свои излюбленные камешки; после обеда разговор плавно переходит на мужские драгоценности. Это последняя тема для беседы, оставшаяся у средиземноморского мира; самолюбование, нарциссизм, дитя сексуального истощения, выявляет себя в символе обладания: ты встречаешь мужчину и через минуту знаешь, сколько он стоит; стоит тебе встретить его жену, и тот же сдавленный шепот назовет тебе сум-

му ее приданого. Они мурлычат над бриллиантами, как евнухи, подставляя свету одну грань, другую, прицениваясь. Они улыбаются – мягкие женские улыбки – и показывают мелкие белые зубы. Они вздыхают. Одетый в белое официант с лицом из полированного черного дерева приносит кофе. Откидывается серебряная крышка над толстыми белыми (как бедра египетских женщин) папиросами, и в каждой – обязательные несколько крошек гашиша. Несколько зернышек забвения на сон грядущий. Думал о девушке, которую встретил прошлой ночью в зеркале: на фоне мрамора и мамонтовой кости – темная вспышка; блестящие черные волосы; удивительные, бездонные глаза – и взгляд твой тонет в них бесследно, ибо они переменчивы, любопытны, ненасытны. Хочет казаться гречанкой, но наверняка еврейка. Нужен еврей, чтоб унюхать еврея: ни у кого из нас не хватает смелости покаяться в собственной крови. Я сказал ей, что я француз. Рано или поздно мы друг друга раскусим».

«Женщины из иммигрантских общин здесь красивее, чем где бы то ни было. Страх и неуверенность одолевают их. Им кажется, что они осели на дно беспредельного океана черноты. Этот город выстроен как дамба на пути прилива африканской тьмы; но черные с их мягкой поступью уже начали проникать в европейские кварталы, размывать их: запущен вихрь расового осмоса. Чтобы быть счастливым, нужно бы родиться мусульманином, египетской женщиной – жадной, податливой, вялой, с пышными формами; поклонни-

цей внешнего лоска; их восковая кожа отликает то лимонной желтизной, то зеленью дыни в ярком лигроиновом свете. Жесткие тела, ленивые жесты. Груды яблочно-зеленые и твердые – змеиная прохлада плоти, вибриссы пальцев рук и ног. Их чувства похоронены в подкорке. В любви они не умеют отдать и малой толики себя, ибо им нечего отдавать, они обволакивают вас облаком мучительной рефлексии – мукой невыразимого томления, полярно противоположного наслаждению и нежности. Столетиями были они заперты в стойлах вместе с волами, с закрытыми лицами, обрезанные в духе. Откормленные во тьме сладостями и пряным жирным мясом, они стали бездонными бочками наслаждения, перекатывающимися на бумажно-белых ногах с голубоватыми прожилками вен».

«Идешь сквозь египетский квартал, и запах плоти меняется – аммиак, сандал, селитра, специи, рыба. Она не позволила мне подвезти ее до дому, явно стесняясь тамошних трущоб. И притом удивительно хорошо говорила о своем детстве. Кое-что записал: она вернулась домой и застала отца, колющего маленьким молоточком грецкие орехи при свете масляной лампы. Я его вижу. Никакой он не грек, он еврей из Одессы в меховой шапке на сальных витых волосах. Еще: поцелуй берберки; огромный напрягшийся пенис, как обсидиан ледниковой эры; наклонилась, чтобы взять ее губу красивыми неровными зубами. Мы, здешние, оставили Европу где-то позади и движемся к новым духовным широтам. Она

отдалась мне с таким презрением, что впервые в жизни я был вынужден задуматься об истинной природе ее страсти; моментальная мысль – она отчаянно, до высокомерия горда тем, что несчастна. И все же эти женщины из затерянных общин, из колен утраченных, обладают какой-то отчаянной смелостью, совершенно непохожей на нашу. Они изучили жизнь плоти до степеней запредельных и стали для нас чужестранцами. Как мне написать об этом? Придет она или навсегда исчезнет? Сирийцы расходятся спать по комнатам с легкими криками, как перелетные птицы».

Она приходит. Они говорят. («Под показной провинциальной изощренностью и резкостью ума я разглядел, как мне показалось, неискушенность – не в мире, нет – лишь в свете. Я заинтересовал ее, вне всяких сомнений, как иностранец с хорошими манерами – и она обратила на меня полный какой-то застенчивой совиной мудрости взгляд огромных карих глаз; голубоватые белки и длинные ресницы оттеняют блеск зрачков, сияющих, искренних».)

Можете себе представить, с какой болезненной, захватывающей дух страстностью я в первый раз читал повествование о давнем романе Жюстин; и, честное слово, несмотря на то что я уже много раз перечитывал эту книгу и знаю ее теперь почти наизусть, она всегда была и будет для меня документом, полным личной боли и не перестающим меня удивлять. «Любовь наша, – пишет он в другом месте, – была подобна силлогизму, истинные посылки которого утрачены: я

имею в виду расположенность друг к другу. Это было что-то вроде взаимной власти умов, поймавшей нас в ловушку и пустившей в дрейф по мелким и теплым водам Мареотиса, словно лягушек, мечущих икру, – нас, жертв инстинктов, идущих от апатии и духоты... Нет, не те слова, неправда. Попробую еще набросать портрет Клодии сим расшатанным, неверным инструментом. С чего начнем?»

«Природное чутье, позволявшее ей находить выход из любой ситуации, безотказно служило ей на протяжении двадцати лет беспорядочной и бессистемной жизни. Об ее происхождении я почти ничего не знаю, если не считать того, что выросла она в крайней нищете. Она произвела на меня впечатление человека, старательно импровизирующего одну за другой злобные карикатуры на самого себя, – это, однако, общая черта большинства одиноких людей, понимающих, что истинная их сущность не может найти отклика и соответствия в другом человеке. Скорость, с которой она переходила от одного окружения, от одного мужчины, места, времени к другому, была потрясающей. Но само ее непостоянство было в своем роде очаровательным. Чем больше я узнавал ее, тем менее предсказуемой она казалась; единственное, что оставалось неизменным, так это ее неистовые попытки прорвать блокаду собственного аутизма. И каждая попытка кончалась провалом, чувством вины и раскаянием. Как часто мне приходилось слышать это ее: “Хороший мой, на этот раз все будет иначе, я тебе обещаю”».

«Позже, когда мы уехали за границу: в “Адлоне”<sup>44</sup> пыль прожекторов оседает на телах испанских танцовщиц, скользящих в дыму тысяч сигарет; над темными водами Буды, где ее слезы обжигаяще капаят на тихо плывущие мертвые листья; на иссохших равнинах Испании, верхом – звук конских копыт оспинами остается на теле тишины; у Средиземного моря, мы загораем на каком-то пустынном рифе. Ее измены никогда не выводили меня из себя – ибо там, где дело касалось Жюстин, вопросы мужской чести, обладания как-то сами собой уходили на задний план. Я был околдован иллюзией, что смогу наконец по-настоящему ее понять; теперь я вижу: в действительности она была не женщина, но воплощение Женщины, и не склонна была снисходить до удобных обществу условностей. “Я охочусь за жизнью, которую бы стоило прожить. Как знать, если бы я могла умереть или сойти с ума, прямо сейчас, все, что бесится внутри меня, в темноте и тесноте, глядишь, и нашло бы выход. Тот доктор, в которого я была влюблена, он говорил мне, что я нимфоманка, – но в радостях моих нет ни обжорства, ни распущенности, Жакоб. С этой точки зрения я просто даром трачу время. Даром, дорогой мой, даром! Ты говоришь, что я получаю удовольствие с печалью в душе, подобно пуританам. Даже и в этом ты ко мне несправедлив. Я принимаю удовольствие как трагедию, а если мои друзья-медики не могут обойтись без

---

<sup>44</sup> «Адлон Кемпински», шикарный берлинский отель, пик популярности которого пришелся на 1920 – начало 1930-х годов.

членистоногого слова, чтобы определить то бессердечное создание, каковым я, наверное, кажусь со стороны, по крайней мере им придется признать, что все недостатки моего сердца с успехом компенсирует душа. Вот где проблема-то!” Сами видите, это отнюдь не обычная женская логика. Ее мир был словно бы лишен не только объема, но и прочих измерений, и любовь была вынуждена обратиться вспять на самое себя и стать чем-то вроде идолопоклонства. Поначалу я принял это за всепоглощающий и опустошительный эгоизм, поскольку она не имела ни малейшего представления о тех маленьких обязательных проявлениях внимания, что составляют основу привязанности между женщиной и мужчиной. Выглядит помпезно, ну да и бог с ним. Теперь же, вспоминая нападавшие на нее по временам приступы страха и счастья, я начинаю сомневаться в своей правоте. Я думаю об утомительных спектаклях – о сценах в меблированных комнатах, когда Жюстин открывала краны в ванной, чтобы заглушить звуки рыданий. Она ходила взад-вперед по комнате, зажав ладони под мышками, бормоча себе под нос, тихо тлея, словно бочка с нефтью, готовая взорваться. Мое весьма посредственное здоровье и слабые нервы – но прежде всего мое европейское чувство юмора – в такие минуты, казалось, совершенно выводили ее из себя. Страдая, скажем, от некоего ею самой придуманного косога взгляда на банкете, она металась по ковровой дорожке в ногах кровати, как пантера. Стоило мне уснуть, и она приходила в ярость – трясла меня за плечи

с криком: “Проснись, Жакоб, ты что, не видишь, что я страдаю?” Когда я отказывался принимать участие в этом цирке, она разбивала что-нибудь на туалетном столике, чтобы получить предлог и позвонить. Каких только вариаций на тему перепуганного лица ночной горничной я не насмотрелся – она встречала их с убийственной вежливостью и роняла что-нибудь вроде: “Окажите мне такую любезность, уберите на туалетном столике. Я, кажется, нечаянно что-то там разбила”. Затем она сидела, куря сигарету за сигаретой. “Я ведь знаю, в чем дело, – сказал я ей однажды. – Сдается мне, что всякий раз, как ты мне изменяешь и мучаешься угрызениями совести, тебе хочется спровоцировать меня на то, чтобы я, ну, скажем, побил тебя, что ли – и вроде как отпустил тебе грех. Дорогая моя, я не желаю потворствовать твоим прихотям. Свою ношу изволь нести сама. Ты все пытаешься меня заставить вытянуть тебя пару раз арапником. А мне тебя просто жаль”. Могу поклясться, это заставило ее на минуту глубоко задуматься, и ее рука невольно коснулась гладкой поверхности тщательно выбритых утром лодыжек...»

«Позже, когда я начал от нее уставать, подобные вспышки казались мне настолько утомительными, что я уже нарочно старался задеть ее и откровенно над ней смеялся. Как-то ночью я назвал ее претенциозной, нудной, истеричной еврейкой. Она разразилась жуткими хриплыми рыданиями, к которым я за это время настолько привык, что даже и сейчас при одном воспоминании о них (такое богатство, такая ме-

лодическая плотность) меня передергивает болью; и бросилась на свою кровать, безвольно раскинув руки и ноги: приступы истерии играли с ними, как струи воды со шлангом».

«Действительно ли такого рода истерики случались с ней настолько часто или это моя память их умножила? Может быть, это и было-то всего один раз, а я теперь обманываюсь эхом. Как бы то ни было, я помню, как часто и напряженно я вслушивался в звук откупориваемой в ванной бутылочки и в тихий плеск таблеток, падавших в стакан с водой. Даже и сквозь сон я считал, чтобы она не приняла их слишком много. Все это, конечно, было гораздо позже, поначалу я просто звал ее к себе в постель, и – взвинченная, замкнутая, холодная – она подчинялась. Я был настолько глуп, что надеялся растопить лед и умиротворить ее хотя бы физически, – тогда я верил, что от этого должна зависеть и умиротворенность ума. Я ошибался. Существовал некий тугий внутренний узел, с которым она безуспешно пыталась справиться, и узла того распутать я не мог – ни как любовник, ни как друг. Конечно же. Конечно. Я знал ровно столько, сколько в то время было известно о психопатологии истерии, но было в Жюстин что-то иное, и, как мне казалось, я выследил зверя там, в глубине. В каком-то смысле она хотела вовсе не жизни, а некоего всепоглощающего откровения, способного дать жизни цель».

«Я уже писал о нашей первой встрече – в длинном зеркале отеля “Сесиль”, перед настежь распахнутой дверью бальной

залы, в карнавальную ночь. Первые слова, сказанные между нами, были произнесены, что само по себе весьма символично, сквозь зеркало. С ней был какой-то мужчина, похожий на камбалу, стоявший поодаль, пока она внимательно изучала свое смуглое отражение. Я остановился поправить непривычно сжавшую горло бабочку. В ее глазах жила здоровая голодная искренность, с ходу отметававшая всякое предположение о развязности или навязчивости; она улыбнулась и сказала: “Вечно не хватает света”. На что я безо всякой задней мысли ответил: “Возможно – для женщин. Мы, мужчины, не настолько взыскательны”. Мы улыбнулись друг другу, и я прошел за ее спиной в залу, готовый, не задумываясь, навсегда уйти из ее зеркального бытия. Позже церемонный лабиринт одного из чудовищных английских танцев, именуемого, если мне не изменяет память, “Пол Джонс”, оставил нас с ней наедине на тур вальса. Мы сказали лишь несколько ничего не значивших слов – я плохой танцор, и к тому же, должен признаться, ее красота не произвела на меня впечатления. И лишь потом она принялась вычерчивать вдоль стантовых опор моей личности стремительные малообдуманные пируэты, повергая мою способность к трезвой оценке ситуации в полный хаос серией быстрых метких ударов, приписывая мне тут же выдуманные качества – из жгучего желания привлечь мое внимание. Женщины просто не могут не атаковать писателей – и как только она узнала, что я писатель, она прониклась необходимостью заинтриговать меня препа-

рированием моей же собственной персоны. Все это могло бы в высшей степени польстить моему *amour-propre*<sup>45</sup>, если бы некоторые из ее наблюдений были чуть дальше от опасной черты. Но она была весьма проницательна, а я был слишком слаб, чтобы отказываться от подобных игр, – ах, эти ухищрения ума, предвестники гамбитов флирта!»

«Далее я не помню ничего до той самой ночи – волшебной летней ночи на залитом лунным светом балконе над морем, – когда Жюстин прижала теплую ладонь к моим губам, чтобы остановить меня, говоруна, и сказала что-то вроде: “Ну же! *Engorge-moi*<sup>46</sup>. От страсти к отвращению – давай с начала и до конца”. Было такое впечатление, что она – про себя – уже успела высосать меня до капли. Но слова эти были произнесены с такой усталостью, с таким смирением – и как же я мог не влюбиться?»

«Нет смысла перебирать события и мысли инструментом столь ненадежным, как слово. Я помню наши бессчетные встречи, то острые как бритва, то заходящие в полный тупик, и я вижу твое двойное дно, Жюстин, вижу, как ты прятала неутолимый голод познания, голод по власти через познание себя, за обманом чувств. С печалью я вынуждаю себя обращаться к мысли – а трогал ли я ее вообще когда-нибудь более или менее серьезно или просто был лабораторией, где она могла работать. Она многому у меня научилась:

---

<sup>45</sup> Самолюбию (*фр.*).

<sup>46</sup> Обними меня (*фр.*).

читать и связно думать. Ни того ни другого она прежде не умела. Я даже заставлял ее вести дневник, чтобы для нее самой стали более внятными ее подчас далеко неординарные мысли. Однако весьма вероятно, что чувство, принятое мной за любовь, было просто-напросто благодарностью. Среди тысяч сброшенных, как сыгравшие карты, людей, впечатлений, объектов анализа – где-то там я вижу и себя, безвольно влекомого потоком, – и протягиваю руки. И вот что странно: как *любовник* я так ее по-настоящему и не обрел, но обрел как писатель. Здесь мы и впрямь подали друг другу руки – в аморальном мире подвешенных суждений, где удивление и любопытство выглядят величественнее, чем порядок – порядок навязанных рассудком силлогизмов, здесь то самое место, где ждешь в молчании, затаив дыхание, пока не запотеет стекло. Я стерег ее именно так. Я влюбился в нее без ума».

«У нее было много тайн, ведь она была истинной дочерью Мусейона, и мне приходилось отчаянно оберегать себя от ревности и от желания вмешаться в ту, скрытую, часть ее жизни. Мне это почти удавалось, и если я и следил за ней, то лишь из чистого любопытства, из желания знать, что она может делать и о чем может думать, когда она не со мной. Была, к примеру, в городе некая женщина, которую она часто навещала и чье влияние на нее было столь глубоким, что натолкнуло меня на мысль о предосудительной связи; еще был мужчина, ему она писала длинные письма, хотя, насколько я понимаю, жил он в городе. Может быть, он был прикован к

постели? Я наводил справки, но мои шпионы всегда приносили мне совершенно неинтересные сведения. Женщина была гадалкой, в возрасте, и вдовой. Мужчина, к которому она писала – повизгивая пером по дешевой бумаге, – оказался доктором, работавшим временно и в незначительной должности в местном консульстве. Он не был прикован к постели; но он был гомосексуалист и тихо копался в герметической философии, столь модной в наши дни. Однажды она оставила необычайно четкий отпечаток на промокашке, и в зеркале – опять зеркала! – я смог прочесть: “моей жизни есть нечто вроде Незаживленного Места, как ты это называешь, и я пытаюсь заполнить его людьми, происшествиями, недугами, всем, что попадает под руку. Ты прав, когда говоришь, что это лишь жалкое подобие истинной жизни, более мудрой жизни. Однако, хотя я уважаю твою науку и твои знания, я чувствую, что, если мне и суждено когда-нибудь примириться с собой, я должна пробиться *сквозь* ошметки моей личности и спалить их дотла. Искусственным путем проблемы мои смог бы решить кто угодно – нужно только уткнуться в манишку к попу. Но мы, александрийцы, слишком горды для этого – и слишком уважаем веру. Это было бы нечестно по отношению к Богу, дорогой мой, и кого бы я еще ни подвела (я вижу, как ты улыбнулся), я решила ни в коем случае не подвести Его, кем бы он ни был”».

«Мне тогда подумалось: если я только что прочел отрывок из любовного письма, то такие любовные письма пишут,

наверное, святым; и снова меня поразила, сквозь невнятицу и неумелость ее письма, та легкость, с какой она жонглировала идеями самого разного порядка. Я стал иначе смотреть на нее: как на человека, способного от избытка ложной смелости уничтожить себя самого и лишиться себя права на счастье, а о счастье она, как и все мы, мечтала, и ради будущего счастья стоило жить. Подобные мысли привели к тому, что моя любовь к ней стала понемногу слабеть, иногда я даже замечал: она мне неприятна. Но вот что меня и в самом деле напугало – некоторое, весьма непродолжительное время спустя я, к ужасу своему, осознал: я не могу без нее жить. Я пытался. Я пробовал ненадолго уезжать. Но без нее жизнь моя становилась унижительно скучной, до невыносимости. Я влюбился. Сама эта мысль наполняла меня невыразимым отчаянием. Я вроде бы даже понимал подсознательно, что встретил в ней своего злого гения. Приехать в Александрию совершенно свободным ото всяческих привязанностей и встретить *amor fati*<sup>47</sup> – это было такое невезение, которое мое здоровье и мои нервы переносить отказывались. Глядя в зеркало, я напоминал себе, что мне уже перевалило за сорок и что на моих висках уже проглядывают седые волосы! Я даже подумывал прервать эту связь, но не мог же я не видеть, как с каждой улыбкой и с каждым поцелуем Жюстин терпят крах мои благие намерения. Но если я был с ней, тени толпились вокруг нас и властно вторгались в мою жизнь, на-

---

<sup>47</sup> Роковую любовь (лат.).

полняя ее новым звучанием. Чувство, столь противоречивое и богатое смыслами, было невозможно отменить единственным актом воли. Иногда она казалась мне женщиной, каждый поцелуй которой был – удар в ворота смерти. Я обнаружил, к примеру (как будто я этого не знал), что она постоянно мне изменяла, причем в то самое время, когда я чувствовал себя ближе к ней, чем когда бы то ни было, – и я не почувствовал ничего определенного, скорее это было похоже на внезапную атрофию чувств, как если бы я ушел, оставив в больнице друга, или шагнул в лифт и упал на шесть этажей вниз в полной тишине, стоя рядом с автоматом в униформе и слушая его дыхание. Тишина моей комнаты оглушала меня. Потом же, обдумав все как следует, старательно собравшись с мыслями, чтобы оценить происшедшее, я понял, что сделанное ею не имело до меня никакого касательства: то была попытка освободиться ради меня же – отдать мне то, что было моим по праву. Не могу сказать, чтобы я не различал во всем этом привкуса софистики. И тем не менее сердце мое, кажется, знало правду и диктовало мне тактичное молчание – и она ответила мне новой теплотой, новой страстью, страстью благодарности, примешанной к любви. И это снова меня оттолкнуло».

«Боже мой, но если бы вы видели ее, как видел я, в минуты простоты и смирения и помнили о том, что она всего лишь ребенок, вы бы не стали упрекать меня в трусости. Ранним утром, уснув в моих объятиях, с волосами, упавши-

ми на улыбающийся рот, она не была похожа ни на одну другую женщину: она и вовсе не была похожа на женщину: но на некое чудесное существо, пойманное и застывшее в плейстоцене своей эволюции. А еще позже, думая о ней, – а думал я о ней постоянно, сколько бы лет ни прошло с тех пор – я с удивлением понял, что пусть я все еще люблю ее и пусть я знаю, что никогда не смогу полюбить другую женщину, меня передергивает от мысли: а вдруг она вернется. Два голоса говорили во мне разом, не мешая друг другу. Я думал с облегчением: “Прекрасно. Я *наконец-то* влюбился. Есть чем гордиться – и к этому мое *alter ego* добавляло: – Избави меня от мук любви и от Жюстин – *орудия пыток*”. Эта загадочная полярность чувств была для меня полной неожиданностью. Если это называть любовью, то во всяком случае я обнаружил некую странную разновидность всем известного растения, никогда мною прежде не виданную. (“Проклятие на это слово, – сказала однажды Жюстин. – Хотела бы я произносить его задом наперед, помнишь, ты рассказывал, что елизаветинцы поступали так со словом “Бог”. И тогда оно превратилось бы в составляющую слов “эволюция” и “бунт”. Никогда не применяй его ко мне”<sup>48</sup>.)»

---

<sup>48</sup> Английское слово God (Бог), произнесенное наоборот, становится словом dog (пес). Любовь (love) превращается в evol, созвучное слову evil (зло) и часть слов evolution (эволюция, развитие) и revolt (бунт).

Последние отрывки я взял из раздела, названного в дневнике «Жизнь после смерти», – своеобразная авторская попытка суммировать и оценить происшедшее. Помбаль находит многое здесь банальным и даже скучным; но кто из нас, знакомых с Жюстин не понаслышке, смог бы избежать очарования этой книги? Кстати, небезынтересны и сам замысел автора, и некоторые высказанные им идеи. Он считает, например, что реальные люди могут существовать лишь в воображении художника, достаточно сильном, чтобы вместить их и придать им форму. «Жизнь, сырой материал, имеет быть прожита лишь *in potentia*<sup>49</sup>, пока художник не воплотит ее в своем произведении. Хотел бы я сослужить эту службу моей бедной Жюстин». (Я, конечно, оговорился – «Клодии».) «Я мечтаю о книге, достаточно сильной, чтобы вместить куски ее личности, – непохожей на книги, к которым мы привыкли сейчас. Примера для: на первой странице – выжимка сюжета в нескольких строках. Таким образом мы могли бы разделаться с повествовательной интонацией. А следом – драма, свободная от груза формы. Я дам моей книге волю мечтать и видеть сны».

Конечно же, от структуры, которую он считает навязан-

---

<sup>49</sup> Потенциально, в возможности (*лат.*).

ной извне, так просто не отделаешься, ведь на самом деле она органично растет вместе с произведением, внутри него и полностью ему соответствует. Чего не хватает его роману – это, однако, относится абсолютно ко всем вещам, не дотягивающим до первого разряда, – так это чувства *игры*. Он слишком рьяно набрасывается на свой материал; так рьяно, что его стиль волей-неволей подхватывает от Клодии заразу этакой истерической взвинченности. И вот результат – любой источник чувств для него равноценен; жест, сделанный Клодией среди олеандров Нуги, камин, в котором она спалила рукопись его романа о ней («Целыми днями она смотрела на меня так, словно пыталась прочесть во мне мою книгу»), маленькая комната на Рю Лепсиус... Он говорит о своих персонажах: «Все они связаны временем, а время отнюдь не есть реальность, *как бы нам того ни хотелось* – оно существует как одно из условий, необходимых для работы. Ибо любая драма создает систему связей, и актер значим лишь в той мере, в которой он связан».

Но если оставить в стороне все эти оговорки, насколько полный очарования и насколько точный портрет Александрии удался ему – Александрии и ее женщин. Здесь есть наброски Леони, Габи, Дельфины – женщина бледно-розовая, золотистая, битумно-черная. Кое-кого можно узнать безо всяких усилий. Клеа все еще живет в своей студии на чердаке; ласточкино гнездо, сотканное из паутины и старых холстов, – он написал ее безошибочно. В большинстве же случа-

ев всех этих александриек отличают от женщин других широт лишь пугающая честность и утрата веры в себя и в мир. Он в достаточной степени писатель, чтобы поселить эти качества не где-нибудь, а в городе Сомы. Можно ли ждать большего от чужака не без способностей, чуть ли не по ошибке пробуравившего черепаховый панцирь, стальной корпус сложного твоего механизма, Александрия, – чтобы найти себя.

Что же до самой Жюстин, то я лишь с большим трудом сумел отыскать кое-что, касающееся Арноти, в непролазных дебрях ее дневников. Несколько раз я наткнулся на букву А, но чаще всего в отрывках, посвященных чистейшей воды самоанализу. Вот один из них – в данном случае идентификация вполне вероятна:

«Первое, что привлекло меня в А., – его комната. Мне всегда казалось, что за этими тяжелыми ставнями бродит некий беспокойный дух. Книжки, разбросанные повсюду – обернутые в белую чертежную бумагу или в суперобложках, вывернутых наизнанку, – словно специально, чтобы скрыть названия. Кипы газет, искромсанных дырами, такое впечатление, что здесь пировали орды крыс, – А. делает вырезки из “реальной жизни”, как он называет эту абстракцию, столь далекую от его собственной жизни. Он садится за свои газеты как за обеденный стол, в залатанном халате и бархатных тапочках, и кромсает их вдоль и поперек парой тупых маникюрных ножниц. Он удивляется “реальности” мира за стенами

его кельи, как ребенок; ведь, судя по всему, люди там могут быть счастливы, могут смеяться и рожать детей».

Несколько подобных отрывков – вот и все, что осталось от автора *Moeurs*; скудное вознаграждение за кропотливый и с любовью сделанный труд; я не смог отыскать ни слова о том, как они расстались после краткого своего и бесплодного брака. И все же интересно было порой наткнуться в его книге на те же суждения о ее характере, которым позже суждено было прийти в голову нам, Нессиму и мне. Удивительного согласия ей удалось ото всех нас добиться. Такое впечатление, что в ее присутствии мужчины совершенно независимо друг от друга сразу догадывались, что нет никакой возможности судить ее по привычным стандартам. Клеа сказала о ней однажды (а уж ее-то суждения никогда не страдали излишней сдержанностью): «Кто по-настоящему нужен мужчине, так это настоящая стерва – вроде Жюстин; только у нее получается задеть мужчину всерьез. Хотя, конечно, наша общая подруга – это всего лишь мелкотравчатая современная копия великих *hetairae*<sup>50</sup> прошлого, она принадлежит к тому же типу, хоть и не отдает себе в том отчета: Лайс, Харис и прочая компания... У Жюстин украли ее роль, и вдобавок ко всем бедам общество возложило на ее плечи груз вины и ответственности. Это печально. Она ведь истинная александрийка».

Клеа маленькая книжка Арноти тоже показалась пустой

---

<sup>50</sup> Гетер (древнегреч.). (В оригинале использован латинский шрифт).

и страдающей ненужным стремлением все объяснить. «Это наша болезнь, – сказала она. – Мы пытаемся втиснуть все-ленную в рамки компетенции психологии или философии. В конце концов, Жюстин невозможно оправдать или объяснить. Она просто и непостижимым образом *есть*, и нам придется смириться с этим, как с первородным грехом. Но обызывать ее нимфоманкой или пытаться разложить ее по Фрейду, мой дорогой, значит напрочь отсечь всю мифологию, – а в ней и нет ничего другого, в Жюстин. Как и все аморальные люди, она стоит где-то на грани между женщиной и богиней. Если бы наш мир был устроен так, как должно, в нем были бы храмы, способные дать ей прибежище и покой, которого она ищет. Храмы, где можно было бы с течением времени избавиться от проклятия, подобного тяготеющему над ней: не в пример этим дерьмовым монастырям, до отказа забитым прыщавыми католическими девственницами, соорудившими себе из гениталий велосипедные седла».

Она имела в виду главы, объединенные Арноти под заголовком «*Проклятие*»<sup>51</sup>, где, как ему казалось, он нашел ключ к душевной нестабильности Жюстин. Может быть, все

---

<sup>51</sup> В оригинале слово *Check*, слишком богатое значениями, существенно важными для понимания гностического и др. символических контекстов романа и всей тетралогии Даррелла, чтобы быть адекватно переведенным на русский язык. Вот некоторые из них: 1) препятствие, 2) проверка, 3) отметина, 4) шахматный шах, 5) потеря собакой следа и, в конце концов, просто чек – вспомните Мелиссу, выкупившую Дарли у «дьявола» Каподистриа, «наложившего лапу» также и на Жюстин (см. далее).

это и пустое, как считает Клеа, но раз уж каждую божью вещь стоит с самого начала подозревать в вероятности более чем одного истинного толкования, не будем пренебрегать и этим. Я и сам не слишком доверяю данной версии Жюстин, но до определенной степени она высвечивает ее манеру действовать – их бесконечные путешествия вдоль и поперек Европы. «В самом сердце страсти, – пишет он, добавляя в скобках, – (страсти, которая казалась ей самой легкодоступной формой человеческой одаренности), лежало проклятие – всерьез мешавшее ей чувствовать в полную силу, и я заметил его лишь долгие месяцы спустя. Оно тенью выросло между нами, и я увидел, или мне показалось, что я увидел, истинного врага того счастья, которого мы так ждали и от которого – мы это почувствовали – нас почему-то отлучили. Что это было?»

«Она сказала мне однажды ночью: мы лежали в огромной уродливой кровати, в чужой комнате, снятой за деньги, – мрачной прямоугольной комнате неясных франко-levantинских очертаний и тонов: лепнина на потолке – разлагающиеся заживо херувимы, покрытые язвами отпавшей штукатурки, гирлянды из виноградных листьев. Она сказала мне и оставила меня беситься от ревности, которую я все еще пытался скрыть, – и сама ревность была теперь совершенно иного свойства. Объектом ревности был мужчина, еще живой, но, несмотря на это, *более не существующий*. Фрейдисты, наверное, назвали бы это фоновой памятью о событиях ранней юности. Она была (и трудно было не заметить, сколь

важным было для нее признание, – хотя бы по пролитым потокам слез; никогда, ни прежде, ни после той ночи, я не видел, чтобы она так рыдала), – она была изнасилована кем-то из родственников. Трудно удержаться от улыбки – до того банальна вся эта история. Понять, в каком возрасте все это случилось, было совершенно невозможно. И все-таки – и здесь, мне кажется, я проник в самую суть Проклятия: с тех самых пор она не могла получить удовольствия в постели, покуда не вспоминала о том случае и не проигрывала про себя с начала до конца все, что тогда произошло. Мы, ее любовники, могли дать ей лишь эрзац любви, ибо служили сменяющимся орудием воспоминания об одном и том же детском акте, – и любовь ее, подобно некой форме мастурбации, окрасилась во все цвета неврастения; она страдала от собственного анемического воображения, потому что полноценное обладание мужчиной во плоти было ей недоступно. Она не могла влюбиться так, как ей того хотелось, ибо ее источники наслаждения были спрятаны в сумеречных уголках жизни, давно уже ставшей для нее посторонней. Это было страшно интересно. Но что меня особенно позабавило, так это удар по моему мужскому самолюбию, который я незамедлительно почувствовал; как будто она только что покаялась мне в преднамеренной измене. Как?! Всякий раз, когда она лежала в моих объятиях, я не мог дать ей наслаждения, пока она сама не вспомнит о другом мужчине? Это означало, что в каком-то смысле я не мог ею обладать и никогда не обладал ею.

Я был просто куклой. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я не могу не улыбнуться при воспоминании о том сдавленном голосе, которым я спросил ее – кто этот человек? где он теперь? (Интересно, что я собирался с ним сделать? Вызвать его на дуэль?) И тем не менее он был здесь, расположившись весьма недвусмысленно между Жюстин и мной; между Жюстин и светом солнца».

«С какой-то пугающей отрешенностью я наблюдал за тем, насколько часто и обильно любовь питается ревностью; Жюстин стала в десять раз желаннее, в десять раз более необходимой мне, когда я понял, что не могу дотянуться до этой лежащей в моих объятиях женщины. Весьма неожиданный и неприятный поворот событий для мужчины, не имевшего намерения влюбиться, не правда ли? – и для женщины, мечтавшей лишь о том, чтоб избавиться от наваждения и стать свободной для любви. Отсюда логически следовало и еще кое-что: если бы я смог преодолеть Проклятие, я овладел бы ею всецело, как то не удавалось до меня ни единому мужчине. Я смог бы занять место призрака и принимать ее поцелуи с чистой душой; пока же они доставались трупу. Мне показалось, что я наконец понял все».

«Потому-то мы и отправлялись в безумное наше турне, рука об руку, в попытке одолеть суккуба вместе и с помощью науки. Вместе мы посетили заставленную книгами келью в Чехии, где восседал прославленный мандарин от психологии с мертвенно-бледным лицом, любовно взиравший

на свои “случаи”. Базель, Цюрих, Баден, Париж – мельтешат стальные рельсы, серо-голубые вены на бледном теле Европы; стальные узлы нервов, нити сходятся и разбегаются врозь сквозь горные цепи и долины. Лицом к лицу с самим собой в прыщавых зеркалах восточного экспресса. Мы возили ее недуг взад и вперед по всей Европе, как младенца в колыбели, пока я не начал отчаиваться и даже подумывать – а что, если Жюстин вовсе и не хочет исцеляться? Ибо к неподвластному контролю разума проклятию, лежавшему на ее душе, она прибавила еще одно – и это было уже заболевание воли. Почему так случилось, не знаю, но она никому не открывала его имени, имени призрака. Имени, значившего для нее теперь либо все, либо ничего. В конце концов, ведь где-то в этом мире он должен был существовать, должны были сесть и редеть от всяческих деловых хлопот и горестей его волосы, он должен был носить черную повязку на глазу, как обычно после приступа офтальмии. (Я ничего не выдумываю, описывая его, – однажды я его видел.) “Почему я должна кому-то сообщать его имя? – кричала Жюстин. – Сейчас он для меня не существует и никогда не существовал. Да он давно уже забыл о тогдашнем! Ты что, не видишь, что он мертв? Да каждый раз, как я с ним встречаюсь...” Меня словно ужалила змея. “Значит, ты с ним встречаешься?” Она незамедлительно дала задний ход. “Раз в несколько лет, случайно, на улице. Мы киваем друг другу”».

«Итак, это создание, этот образчик заурядности – он все

еще дышал, все еще жил на свете! Господи, сколь фантастична и низменна ревность. Но ревность к домыслам любимой женщины – это уже на грани психического расстройства».

«И вот однажды в самом сердце Каира, когда мы застряли в автомобильной пробке, в удушливой жаре летнего вечера с нами поравнялось обычное каирское такси, и что-то в выражении лица Жюстин заставило меня обернуться. Сквозь пружинящую под пальцами липкую духоту, плотную от испарений Нила, болезненную воню сгнивших фруктов, жасмина и потных черных тел, я разглядел ничем не примечательно-го человека в соседней машине. Если бы не черная повязка на глазу, его невозможно было бы отличить от тысяч других извращенных и потасканных деловых людей этого жуткого города. Явно поредевшие волосы, острый профиль, глаза как черный бисер; одет он был в серый летний костюм. На лице Жюстин столь явственно отразились смутнение и боль, что я невольно вскрикнул: “В чем дело?” – и едва лишь пробка начала рассасываться и машины пришли в движение, в ее глазах зажегся диковатый огонек, и она ответила так, словно дерзила спяну: “Тот человек, за которым вы все охотитесь”. Но я понял это прежде, чем она открыла рот, и, словно в дурном сне, остановил такси и выскочил на дорогу. Я успел заметить красные задние огни его машины, свернувшей на Сулейман-пашу, слишком далеко, чтобы рассмотреть ее номер или хотя бы цвет. Гнаться за ним было бессмысленно, движение снова застопорилось. Я сел обратно в такси, меня била

дрожь, я не мог вымолвить ни слова. Итак, я видел лицо человека, имя которого так долго выуживал Фрейд со всей его великой мощью, со всей его любовной беспристрастностью. Ради этого безобидного стареющего человечка Жюстин погружалась в бесчувствие, и каждый ее нерв был напряжен до предела, словно в акте левитации, а тонкий стальной голос Маньяни повторял снова и снова: “Назови мне его имя, ты должна назвать его имя”, – и откуда-то из глубин давно забытых пейзажей, где корчилась ее память, сжатая тисками родовых мук, ее голос повторял, подобно оракулу машинной эры: “Я никак не могу вспомнить. Я не могу вспомнить”».

«Тогда для меня стало совершенно очевидным, что, согласно какой-то извращенной логике, она не хочет избавиться от своего Проклятия и все старания самых лучших психиатров здесь бессильны. Вот он, чистый случай безо всякой оркестровки: здесь была и ее так называемая нимфомания, которой, как меня уверяли все эти distinguished джентльмены, она страдала. По временам я чувствовал, что они правы; по временам я сомневался. В любом случае существовало искушение именно здесь отыскать причину ее поступков – каждый мужчина являлся ей как намек на долгожданную свободу, свободу от удушающей замкнутости, где в неволе вскармливали секс – жирными языками яркого пламени больной фантазии».

«Может быть, мы были неправы, когда говорили об этом при ней же, когда вообще дали ей понять, что существует

такая проблема; мы взлелеяли в ней чувство собственной значимости и вдобавок спровоцировали невротические метания из стороны в сторону, которых доселе не наблюдалось. В своих чувствах она была прямолинейна – как падающий топор. Она принимала поцелуи, словно за слоем слой масляной краски. Я сам себе удивляюсь, когда вспоминаю, как долго и как тщетно я искал оправданий, способных сделать ее аморальность если и не терпимой, то по крайней мере понятной. Теперь я понимаю, сколько времени я потратил таким образом совершенно впустую; вместо того чтобы наслаждаться ею и отвернуться ото всей этой суеты с мыслью: “Она прекрасна, но доверять ей ни в коем случае нельзя. Она выпитывает любовь, как дерево воду, легко, бездумно”. И я смог бы бродить с ней вдоль затхлого канала, держась за руки, или плавать на лодке по сочащемуся солнцем Мареотису, наслаждаться ею, принимать ее такой, какая она есть. Что за чудесная способность быть несчастными у нас, у писателей! Я знаю только, что долгое и болезненное обследование Жюстин не только сделало ее менее уверенной в себе, но и научило ее лгать осознанно; и, что хуже всего, она стала видеть во мне врага, подстерегающего каждый ее промах, каждое слово и каждый жест, способный ее выдать. Она удвоила бдительность и в свою очередь начала обвинять меня в том, что я невыносимо ревнив. Может, она была и права. “Теперь ты живешь в мире моих воображаемых измен. Если говорить начистоту, я была душой, когда все тебе рассказала. Последни

за собой, какие допросы ты мне устраиваешь. Одни и те же вопросы по нескольку дней кряду. Малейшее расхождение – и ты уже вне себя. Ты же знаешь, что я никогда не повторяю историю дважды слово в слово. Разве это значит, что я лгу?”

Я не внял предупреждению, напротив, я тоже удвоил усилия, пытаюсь сорвать занавес, за которым, как мне казалось, стоял мой соперник и на глазу его была черная повязка. Я все еще переписывался с Маньяни и старался собрать для него как можно больше данных, чтобы он раскрыл наконец эту тайну, – но тщетно. В тернистых джунглях импульсов вины, составляющих человеческую душу, кто может отыскать дорогу – даже если ему пытаются помочь? Где время, потраченное нами на пустые поиски того, что ей нравится, а чего она не любит? Если бы Господь благословил Жюстин чувством юмора, сколько удовольствия она могла бы получить, играя с нами. Я помню целую кипу писем, посвященных одному ее признанию: она не может прочесть на конверте слова “Washington D. C.” без ощущения неприязни. Как я раскаиваюсь сейчас, как жалею о бездарно упущенном времени – я просто должен был любить ее так, как она того заслуживала. Подобного рода сомнения не были чужды, очевидно, и Маньяни; вот что однажды он мне написал: “...и, дорогой мой мальчик, нам вовсе не следует забывать, что писающая в пеленки наука, которой мы занимаемся, хотя и кажется нам полной тайн и небывалых перспектив, в лучшем случае основана на чем-то не менее шатком, нежели астрология.

Подумай только от этих *терминах*, которыми мы швыряемся направо и налево. Нимфоманию можно считать иной формой девственности – при желании; что же касается Жюстин, может быть, она и вовсе еще ни разу не влюблялась. Может быть, однажды она встретит нужного человека, и все эти нудные химеры снова растворятся в первобытной невинности. Ты не должен исключать такой возможности”. Он, конечно, не хотел меня задеть – я ведь так и не позаботился примерить эту мысль на себя. Она резанула меня, только когда я прочел ее в письме этого мудрого старика».

\* \* \*

Я не читал этих страниц Арноти до того самого жаркого дня в Борг-эль-Арабе, когда будущее наших с ней отношений было поставлено на карту, когда появилось что-то новое – я не решаюсь написать слово «любовь» из боязни услышать, пусть даже только вообразить ее хрипловатый мелодичный смех: и где-то далеко на этот смех эхом отзовется автор дневника. Да и то сказать, я находил настолько великолепным его анализ избранного предмета, и сами наши отношения теперь настолько походили на его отношения с Жюстин, что порой я сам себя ощущал каким-то бумажным персонажем из *Moeurs*. Более того, а не занимаюсь ли я сейчас тем же, чем он когда-то, пытаюсь написать ее словами, – хотя, конечно, я не настолько талантлив, да и не претендую на

имя художника. Я хочу писать просто и наживо, без стилистических изысков – белила и штукатурка; потому что портрет Жюстин должен быть сработан грубо, так, чтоб сквозь побелку светила каменная кладка.

После того, что случилось на пляже, мы некоторое время не виделись, нас одолела какая-то головокружительная нерешительность – по крайней мере, меня. Нессима вызвали по делу в Каир, и, хотя Жюстин, насколько мне было известно, осталась дома одна, я так и не смог заставить себя переступить порог студии. Как-то раз, проходя мимо, я услышал Блютнера и едва не позвонил – настолько ярким был образ Жюстин, сидящей у пианино. Затем, ночью, я шел мимо сада и увидел женщину – это была она несомненно, – идущую по берегу пруда, прикрывая ладонью пламя свечи. Я с минуту простоял у массивной двери, мучительно решая, позвонить или нет. Мелисса в то время тоже воспользовалась какой-то оказией и уехала в Верхний Египет навестить подругу. Лето стремительно набирало силу, город изнемогал от зноя. Все свободное от работы время я проводил на переполненных пляжах, путешествуя туда-сюда на маленьком жестяном трамвае.

Но вот в один прекрасный день, когда я валялся в постели с температурой от передозировки солнца, в сырую прохладу маленькой моей квартиры вошла Жюстин в белых туфельках и белом платье, со свернутым в рулон полотенцем под мышкой, с той же стороны, что и сумочка. Темное вели-

колепие ее волос и кожи сияло сквозь всю эту белизну волшеб­но и изысканно. Она заговорила, и голос ее был хрип­лым и нетвердым, на минуту мне показалось, что она пила, – а может, так оно и было. Она вытянула руку, облокотилась на каминную полку и сказала: «Я хочу покончить со всем этим как можно скорее. Мне показалось, что мы слишком далеко зашли, чтобы возвращаться». Я был раздавлен кош­марным нежеланием чего бы то ни было желать, роскошной мукой души и тела, не позволявшей мне ни говорить, ни ду­мать. Я не мог представить себя с ней в постели – паутина чувств, которой мы опутали друг друга, стояла между нами; невидимая сеть привязанностей, идей и сомнений – и у ме­ня не хватало смелости поднять руку, чтобы смести ее с до­роги. Как только Жюстин сделала шаг вперед, я выдавил из себя: «У меня жуткая, затхлая постель. Я пил все это время. Я пытался даже заняться любовью самостоятельно, но у ме­ня ничего не вышло – я все время думал о тебе». Я почув­ствовал, что медленно бледнею, все еще лежа на подушке, и стала вдруг пронзительно слышна тишина моей маленькой квартиры, надорванная с одного краешка водой, капавшей из прохудившегося крана. Где-то далеко визгливо крикнуло такси, и из гавани, как придушенный рев Минотавра, при­шел короткий темный звук сирены. Вот теперь, подумал я, мы совершенно одни.

Комната была полна Мелиссой – жалкий туалетный сто­лик, заваленный фотографиями и пустыми коробочками из-

под пудры; изящные занавески, тихо, дышавшие воздухом знойного летнего дня, как корабельный парус. Сколько раз мы уже упустили возможность, лежа рядом, видеть, как напрягаются и опадают складки прозрачного прямоугольника из светлого полотна. И наискосок, рассекая движением нежно лелеемый образ, застывший в волшебном кристалле гигантской слезы, двинулось темное точеное тело Жюстин обнаженной. Мне нужно было быть слепым, чтоб не заметить, как круто замешена на тоске ее решимость. Мы долго лежали, глаза в глаза, касаясь кожей, едва ли больше замечая друг друга, чем животную лень угасавшего дня. Уложив ее к себе поближе на сгибе локтя, я не мог отделаться от мысли – как мало мы владеем собственным телом. Я подумал об Арноти, написавшем: «Мне вдруг пришло в голову, что эта девочка как-то пугающе быстро выбила из рук моих мое оружие, мою *force morale* <sup>52</sup>. Я чувствовал себя так, словно меня обрили наголо». Однако французы, думал я, с их бесконечным тяготением *bonheur* <sup>53</sup> к *chagrin* <sup>54</sup> обречены страдать, натываясь на все, что не признает *préjugés* <sup>55</sup>; прирожденные виртуозы и тактики, лишённые таланта выносливости, – им недостает малой толики той тупости, коей природа в избытке вооружает ум англосакса. И я подумал: «Хорошо. Пускай она ведет

---

<sup>52</sup> Моральную силу (*фр.*).

<sup>53</sup> Счастья (*фр.*).

<sup>54</sup> Печали (*фр.*).

<sup>55</sup> Предвзвешенных (*фр.*).

меня куда хочет. Она найдет во мне ровню. И в конце не будет болтовни о *chagrin*». Потом я подумал о Нессиме, который наблюдал за нами (хотя этого я знать не мог) словно в перевернутый огромный телескоп: едва различая наши крохотные фигурки на небосводе собственных затей и планов. Я очень боялся причинить ему боль.

Но она уже закрыла глаза, такие теперь мягкие и блестящие, будто отполированные молчанием, тяжело дышавшим с нами рядом. Ее мелко дрожавшие пальцы успокоились и расслабились на моем плече. Мы повернулись навстречу друг другу и сомкнулись как две половинки двери, за которой стояло прошлое, и закрыли его на ключ, и я ощутил, как быстрее счастливые поцелуи стали сочинять наши очертания во тьме, словно за слоем слой краски. Когда мы кончили и снова пришли в себя, она сказала:

«У меня всегда так плохо получается в первый раз, почему, а?»

«Может, нервы. У меня тоже».

«А ты меня чуть-чуть боишься».

И, приподнявшись на локте, словно бы вдруг проснувшись, я сказал: «Слушай, Жюстин, что, черт возьми, мы будем со всем этим делать дальше? Если это будет...» Но тут она страшно перепугалась и прижала ладонь к моим губам: «Ради бога, не нужно оправданий! Тогда я буду знать, что мы ошиблись! Это ничем оправдать невозможно, ничем. И все-таки так должно быть». И, встав с постели, она быстро

подошла к туалетному столику и одним ударом, как пантера лапой, смела все фотографии и коробочки на пол. «*Вот*, – сказала она, – как я поступаю с Нессимом, а ты с Мелиссой! Было бы нечестно притворяться, что это не так». Это куда больше было похоже на то, к чему меня приучил Арноти, и я смолчал. Она вернулась и принялась целовать меня в таком голодном запое, что мои сторевшие плечи стали пульсировать болью и на глазах выступили слезы. «Ага! – сказала она печально и мягко. – Ты плачешь. Хотела бы я так. У меня больше не получается».

Я помню, что подумал, обнимая ее, пробуя на вкус тепло и сладость ее тела, соленого от влаги моря, – соленые мочки ушей, – я помню, что подумал: «Каждый поцелуй будет приближать ее к Нессиму и отдалять меня от Мелиссы». Но, к моему удивлению, я не испытывал ни подавленности, ни боли; она же в свою очередь, должно быть, думала о том же, потому что сказала внезапно: «Бальтазар говорит, что от природы предатели – как я и ты – на самом деле Кабалли. Он говорит, что на самом деле мы мертвы и живем словно по ошибке. И все-таки живущие не могут обойтись без нас. Мы заражаем их страстью искать то, чего нет, страстью роста».

Я пытался объяснить самому себе, как глупо все сложилось, – банальный адюльтер, самая дешевая разменная монета этого города: и насколько недостойно романтических и литературных украшений. И все же где-то там, глубже, я, кажется, уже понял, что история, в которую я впутался, ра-

но или поздно приобретет смертельную завершенность выученного урока. «Ты слишком серьезно к этому относишься», – сказал я с некоторым даже негодованием, ибо я скользил по поверхности и не хотел, чтобы меня вытягивали из моих сонных глубин. Жюстин обратила ко мне свои огромные глаза. «Да нет же! – сказала она тихо, словно говорила сама с собой. – Было бы непростительной глупостью причинить столько зла и не понять, что это и есть моя роль. Только на этом пути, сознавая, чем я занимаюсь, я смогу когда-нибудь перерасти себя. Нелегко быть мной. Я *так* хочу сама за себя отвечать. Пожалуйста, никогда не сомневайся в том, что так оно и есть, ладно?»

Мы уснули, и меня разбудило лишь сухое щелканье ключа в замке – пришел Хамид и начал свое ежевечернее представление. Для правоверного мусульманина, чей молитвенный коврик всегда свернут в трубку на кухонном балконе и всегда готов к употреблению, он был невероятно суеверен. Как говаривал Помбаль, он был «джинновидец», и, кажется, не существовало во всей квартире угла, где не скрывался бы джинн. Как мне надоело его бесконечное арабское чуранье шепотом, когда он, скажем, выливал помои в раковину на кухне, – ибо там гнезвился могущественный джинн и портить с ним отношения было небезопасно. В ванной они роились стаями, и я всегда знал, когда Хамид сидит в наружном нужнике (что ему было строго-настрога запрещено), потому что, как только он садился на унитаз, с губ его невольно сле-

тало хриплое обращение к духам («С вашего дозволения, о благословенные!»), что нейтрализовало джинна, способного в противном случае утащить его в канализацию. Вот и теперь я слышал, как он шлепает по кухне в своих старых войлочных тапках, словно тихо бормочущий боа-констриктор.

Я разбудил беспокойно дремавшую Жюстин и с мучительным удивлением, всегда составлявшим для меня большую и лучшую часть чувственного наслаждения, взгляделся напоследок в ее рот, в ее глаза, в ее тонкие волосы. «Нам нужно идти, – сказал я. – Скоро Помбаль вернется из консульства».

Я помню вороватую вялую осторожность, с которой мы одевались и спускались, словно подпольщики, по сумеречной лестнице к выходу на улицу. Я не решался взять ее под руку, но, пока мы шли, ладони наши то и дело невольно встречались, как будто, забыв стряхнуть очарование прожитого дня, никак не могли друг от друга отвыкнуть. Мы и расстались, не сказав ни слова, в маленьком скверике, где солнце выкрасило медленно умиравшие деревья в цвет кофе; расстались, просто обменявшись взглядом, словно хотели навеки друг в друге остаться.

Как будто весь город разом рухнул мне на голову; я брел медленно, бесцельно, как, должно быть, бродят случайно выжившие по улицам родного города, разрушенного землетрясением, глупо удивляясь, насколько изменились знакомые места. Я почему-то напрочь оглох и ничего не могу припомнить из того вечера, кроме того, что много позже я наткнул-

ся на Персуордена и Помбаля в каком-то баре и Персуорден цитировал строки из знаменитого «Города» нашего старого поэта: несколько строчек, которые ударили меня в лицо – так, словно были написаны заново, словно я и не знал их на память. И когда Помбаль сказал: «Ты что-то какой-то рассеянный сегодня. Что случилось?» – я почувствовал желание ответить ему словами умирающего Амра<sup>56</sup>: «Мне кажется, что небо легло на землю, а я зажат между ними и дышу сквозь игольное ушко».

---

<sup>56</sup> Амр, завоеватель Александрии, был поэт и солдат. Об арабском завоевании Э.-М. Форстер пишет: «Хотя у них и не было намерения разрушать ее, они ее разрушили, как ребенок ломает часы. Она не могла прийти в себя еще более 1000 лет».

## Часть 2

Написать так много и ничего не сказать о Бальтазаре – это, конечно, серьезное упущение, ибо в каком-то смысле он – один из ключей к Городу. Ключ. Да-да, я частенько к нему присматривался в те дни, но теперь, вспоминая о прошлом, я понимаю – нужно сменить точку отсчета. Я многого не понимал тогда и многому с тех пор научился. Чаще всего мне приходят на память нескончаемые вечера, проведенные в кафе «Аль Актар» за триктраком, – Бальтазар курит свой излюбленный «Лакадиф» в трубке с длинным чубуком. Если Мнемджан – это архив Города, то Бальтазар – его платонический *daimon*, посредник между его божествами и его людьми. Звучит несколько натянуто, но что поделаешь.

Я вижу: высокий человек в черной шляпе с узкими полями. Помбаль окрестил его «ботаническим козлом». Он сухощав, слегка сутулится, у него глубокий рокочущий голос, очень красивый, особенно когда он цитирует кого-то или читает стихи. При разговоре он никогда не смотрит в лицо – особенность, присущая многим гомосексуалам. В нем это, однако, вовсе не от извращенности, которой он не только не смущается, но и относится к этой своей особенности вполне индифферентно; его желтые козлиные глаза – глаза гипнотизера. Если он и не смотрит вам прямо в глаза, то исключительно ради того, чтобы вас же уберечь от взгляда настоль-

ко безжалостного, что иначе вам пришлось бы распространиться со спокойствием духа на целый вечер. Великая тайна – откуда у него такие уродливые руки. Я бы на его месте давно отрезал их и выбросил в море. На подбородке у него произрастает одинокий завиток черных волос – вроде того, что встречаешь порой над копытом мраморного Пана.

Бывало, бродя с ним вдвоем вдоль канала над тусклым бархатом густой кофейной жижи, я ловил себя на том, что пытался вычислить ту неуловимую черту, которая так меня в нем привлекала. Тогда я еще ничего не знал о Кружке. Балтазар много читает, но речь его отнюдь не перегружена разного рода литературщиной, как у Персуордена. Он любит поэзию, любит притчи, любит науку и софистику – но за шахматными ходами его мысли кроются здравый смысл и деликатность. Есть кое-что и глубже, под деликатностью, – некое глухое эхо, оно придает его мысли густоту и плотность. Он склонен говорить афоризмами и смахивает порой на этакое местного оракула. Теперь я понимаю, что он относится к числу тех редких людей, которые выстроили для себя философскую систему и нашли свое призвание в том, чтобы по мере сил ей соответствовать. Вот здесь-то, мне кажется, и скрывается то не поддающееся анализу свойство, что придает его манере говорить остроту английской бритвы.

Он врач и большую часть своего рабочего времени проводит в государственной венерической клинике. (Однажды он сухо обронил: «Я живу в самом центре жизнедеятельно-

сти этого города – в его мочеполовой системе: отрезвляющее, надо сказать, местечко»).) И еще – он единственный известный мне человек, педерастические наклонности которого никак не отразились на врожденном мужском складе ума. Он не пуританин, но и не наоборот. Несколько раз я врывался в его маленькую комнату на Рю Лепсиус – в комнату со скрипучим камышовым креслом – и заставлял его спать в одной постели с каким-нибудь матросом. Он не выказал никакого смущения и даже не пытался как-то объяснить присутствие своего приятеля. Одеваясь, он иногда поворачивался, чтобы подоткнуть вокруг спящего простыню. Подобную непринужденность я воспринимал как комплимент.

В нем много разного понамешано: иногда я слышал, как голос его дрожит от переизбытка чувств, когда он толкует какой-нибудь аспект каббалы и старается прояснить его для членов кружка. Но однажды, когда я с воодушевлением рассуждал о некоторых его замечаниях, он вздохнул и сказал с великолепным александрийским скепсисом, который непостижимым образом угадывается за безраздельной верой и приверженностью Гносису: «Все мы ищем разумных доводов, чтобы уверовать в абсурд». В другой раз, после долгого и утомительного спора с Жюстин о среде и наследственности, он сказал: «Ах, моя дорогая, после того как философы потрудились над нашей душой, а врачи – над нашим телом, что можем мы знать о человеке достоверно? Только то, что он, когда все сказано и сделано, – всего лишь труба для про-

хождения жидкостей и твердых тел, бочонок мяса».

Он учился вместе со старым поэтом и дружил с ним, и о нем он говорит всегда так тепло и так проникновенно, что каждый раз меня пробирает до костей, о чем бы он ни вспоминал: «Иногда мне кажется, что от него я научился куда большему, чем ото всех моих философских штудий. Будь он религиозным человеком, его умение находить невероятное равновесие между иронией и нежностью сделало бы из него святого. Однако он был всего лишь божьей милостью поэт и зачастую несчастен, но, когда ты находился с ним рядом, возникало такое чувство, словно он ловит каждую пролетающую минуту и поворачивает ее счастливой стороной, с ног на голову. Он, конечно, загнал себя до смерти, там, внутри. В большинстве своем люди лежат смирно и позволяют жизни играть с собой, как с теплыми струйками душа. Картезианскому кредо «Я мыслю, значит существую» он противопоставил свое собственное, которое могло бы звучать как-нибудь вроде: «Я наделен воображением, значит, я принадлежу и свободен».

О себе Бальтазар говорит уклончиво: «Я еврей, а это подразумевает кровожадную еврейскую страсть все и вся объяснять. По этой статье можно списать кое-какие из недостатков моего мышления, их-то я и пытаюсь уравновесить тем, что за их вычетом от меня остается, – в основном каббалой».

Еще я помню, как встретил его однажды холодным зимним вечером: я шел вдоль по вылизанной дождем Корниш и уворачивался от внезапных потоков соленой воды из водостоков вдоль парапета. В черепе под черной шляпой звенят Спорады и Смирна – места его детства. Под черной шляпой – неотвязный проблеск истины; позже он пытался сделать его зримым и для меня: на английском, ничуть не менее безупречном оттого, что язык ему пришлось учить. Не стану отрицать, мы встречались и раньше, но мельком: и снова разошлись бы, молча кивнув друг другу, если бы он не остановил меня в полном смятении и не схватил за руку. «Вы мне поможете? – воскликнул он, хватая меня за руку. – Пожалуйста, помогите мне!» Его бледное лицо с мерцающими козлиными глазами наклонилось ко мне в подступающих сумерках.

Первые бесцветные фонари уже начали неумело натягивать влажный бумажный занавес Александрии. Линия набережной, повторенная корявой линией кафе, полупроглоченных соленой дымкой, фосфоресцировала неровным грязноватым светом. Дул южный ветер. За камышовой гущей припал к земле Марейотис, мускулистый, как играющий сфинкс. Он потерял, сказал он, ключик от часов – великолепного золотого карманного хронометра мюнхенской работы. Поз-

же мне показалось, что за явной назойливостью он пытался спрятать тот иероглифический смысл, который имели для него эти часы: представительный символ свободного ото всяких обязательств времени, текущего сквозь его тело и сквозь мое, и эта допотопная маленькая машинка вот уже столько лет внимательно за всем следила. Мюнхен, Загреб, Карпаты... Часы принадлежали его отцу. Долговязый еврей, одетый в меха, на санях, и в руках его – вожжи. Он ехал в Польшу у матери на руках и всю дорогу только и знал, что ее бриллианты, оправленные в заснеженный зимний пейзаж, были холодны как лед. Часы тихо тикали где-то в теле его отца и в его собственном теле тоже – время бродило в них, как дрожжи. Заводились они маленьким ключиком в форме анкха, который он держал привязанным на кусочке черной ленты к общей связке. «Сегодня суббота, – прокаркал он, – в Александрии». Он говорил так, словно здесь обитала совершенно особая разновидность времени, и не так уж он был и неправ. «Если не найду ключа – остановится». Отсыревший закат догорел окончательно, он бережно вынул хронометр из блеснувшего шелком жилетного кармана. «До понедельника, до вечера. Потом остановится». Без ключа не имело смысла открывать изящную золотую крышку и обнажать пульсирующие кишочки времени... «Я все уже обыскал, три раза кряду. Я, должно быть, обронил его где-то между кафе и больницей». Я бы с радостью помог ему, но сумерки быстро густели; и после того, как мы некоторое время по-

бродили, исследуя щели между булыжниками, поиски пришлось оставить. «Но ведь вы наверняка можете заказать новый ключик», – сказал я. «Да, – ответил он раздраженно. – Могу. Но вы не понимаете. Он был именно от этих часов. Он был их частью».

Мы зашли, насколько я помню, в какое-то кафе на набережной и некоторое время уныло сидели над чашечками черного кофе, покуда он каркал про свои замечательные часы. Именно тогда, я уже не помню, в какой связи, он сказал: «Вы, кажется, знакомы с Жюстин. Она очень тепло о вас отзывалась. Она приведет вас в Кружок». – «О чем речь?» – спросил я. «Мы изучаем каббалу, – сказал он почти застенчиво, – нечто вроде маленькой логи. Она говорила, что вы немного разбираетесь в каббале и что вам было бы небезынтересно...» Меня это удивило до крайности – насколько я мог вспомнить, я никогда не упоминал при Жюстин ни о каких моих изысканиях в этих сферах, а я действительно им предавался в промежутках между долгими приступами ледяной и самодовольства. И, насколько мне было известно, маленький чемоданчик с «Герметикой» и другими подобными книгами всегда был заперт и спрятан у меня под кроватью. Как бы то ни было, я смолчал. Потом он заговорил о Нессиме: «В каком-то смысле он счастливее нас всех – он никогда не знал заранее, чего он хочет в обмен на свою любовь. А влюбляться так просто, так непосредственно люди обычно учатся заново лишь после пятидесяти. Дети умеют. Он тоже.

Я серьезно».

«Вы знали писателя по имени Арноти?»

«Да. Автор *Moeurs*».

«Расскажите мне о нем».

«Он прямо-таки ворвался к нам, но так никогда и не увидел града духовного за этим, погрязшим во времени. Одаренный, тонко чувствующий, но уж очень француз. Когда он встретил Жюстин, она была еще слишком молода, чтобы он смог добиться от нее чего-нибудь, кроме боли. Просто не повезло. Найди он кого-нибудь постарше – все наши женщины, знаете ли, в своем роде Жюстин, – он смог бы – я не скажу писать лучше, потому что книжка хорошо написана, но он смог бы отыскать в ней, в книге, некое решение, способное и впрямь сделать ее произведением искусства».

Он замолчал и глубоко затянулся трубкой, прежде чем добавить, медленно: «Видите ли, в своем романе он просто не стал связываться со многими вещами, имевшими к Жюстин самое прямое касательство, по чисто художественным соображениям – вроде этой истории с ребенком. Мне кажется, он считал, что она слишком отдает мелодрамой».

«Что за ребенок?»

«У Жюстин был ребенок, от кого – я не знаю. Его похитили; в общем, он исчез. Около шести лет от роду. Девочка. Такие вещи в Египте происходят достаточно часто, да вы сами знаете. Позже до нее дошло, что девочку то ли видели, то ли слышали о ней, и она принялась обшаривать арабские

кварталы всех здешних городов, каждый бордель, который могла найти, вы ведь знаете, что бывает в Египте с детьми, у которых нет родителей. Арноти об этом ни разу не упоминает, хотя он часто помогал ей в поисках, и не мог же он не увидеть в этом одну из причин того, что она несчастна».

«А кого Жюстин любила до Арноти?»

«Не помню. Знаете, многие из любовников Жюстин остались ее друзьями; но мне гораздо чаще приходит на ум другое – по-моему, самые близкие ее друзья никогда с ней не спали. Этот город скор на сплетни».

Но я уже думал о том месте в *Moeurs*, где Жюстин знакомит его с кем-то из своих любовников. Арноти пишет: «Она обняла этого человека, своего любовника, так нежно, прямо передо мной, и принялась целовать его глаза и губы, его лицо и даже его руки – я остолбенел. А потом меня пронзила, до дрожи, мысль, что на самом-то деле она целовала *меня*».

Бальтазар сказал тихо: «Слава Богу, что у меня в любви иные интересы. По крайней мере, гомосексуал избавлен от этой жуткой борьбы за то, чтобы отдать себя другому. Когда лежишь с себе подобным и получаешь свое, всегда есть возможность оставить участок мозга свободным, чтобы думать о Платоне, или о садоводстве, или о дифференциальном исчислении. Секс сейчас покинул тело и ушел в воображение; Арноти именно из-за этого так мучился с Жюстин, она ведь охотилась за тем, что он так тщательно оберегал, – за художником, который в нем жил, если хотите. Он, в конце

концов, нечто вроде уменьшенной копии Антония, а она – Клеопатра. Шекспир обо всем этом уже написал. Ну а что до Александрии, понимаете теперь, почему этот город есть самое логово инцеста? Ведь культ Сераписа был основан именно здесь. Если сердце твое и чресла иссушены тем, что здесь называют любовью, поневоле обратишься к себе же, к своей тени, к сестре. Любовник отражается в собственной семье, как Нарцисс в тихой заводи: и из этого тупика не выбраться».

Я не очень-то во всем этом тогда разобрался, но все же сумел почувствовать некую смутную взаимосвязь между образами, которыми он жонглировал; и конечно же, многое из сказанного не то чтобы объясняло, но предлагало изящную рамку к портрету Жюстин – темное, неистовое создание, чей прямой энергичный почерк впервые донес до меня эту цитату из Лафорга: «*Je n'ai pas une jeune fille qui saurait me goûter. Ah! oui, une garde malade! Une garde malade pour l'amour de l'art, ne donnant ses baisers qu'à des mourants, des gens in extremis...*»<sup>57</sup> Ниже она приписала: «А. часто цитировал. Случайно встретила у Лафорга». «Вы разлюбили Мелиссу? – внезапно спросил Бальтазар. – Я ее не знаю. Только внешне. Простите меня. Я сделал вам больно».

Как раз тогда я начал понемногу осознавать, какую боль причиняю Мелиссе. Но я не слышал от нее ни слова упрека,

---

<sup>57</sup> «Я не знаю девушки, которая могла бы мне подойти. Ах да, вот разве что сиделка! Сиделка из любви к искусству, что дарит свои поцелуи лишь смертникам, людям *in extremis...*» (фр.) *In extremis* (лат.) – на последнем издыхании, перед кончиной.

и о Жюстин она не говорила. Изменился только цвет ее тела, на более тусклый, цвет нелюбимой женщины; и, как ни странно, хотя я едва мог войти в нее теперь без усилия воли, я чувствовал, что люблю ее глубже, чем когда-либо. Меня снедали несовместимые чувства; и ощущение подавленности, ранее мне незнакомое; поэтому иногда я на нее сердился.

Как это было непохоже на Жюстин, которая жила в таком же несоответствии между идеями и желаниями, когда писала: «Кто, черт возьми, придумал человеческое сердце? Скажите мне, а потом покажите место, где его повесили».

\* \* \*

Кружок. Специфическая тема для разговора. Александрия – город сект и ересей, и на каждого аскета она всегда производила на свет по либертину от религии – Карпократ, Антоний, – готовых увязнуть в чувственности столь же глубоко и искренне, как пустынный – в духе. «Ты говоришь о синкретизме пренебрежительно, – сказал как-то Бальтазар, – однако ты должен понять, что для того, чтобы вообще работать здесь – я говорю сейчас как верующий, как истово верующий, не как философ, – необходимо свести воедино две поведенческие крайности, порожденные не умственными наклонностями александрийцев, но здешней почвой, воздухом, пейзажем. Я имею в виду крайнюю степень чувствен-

ности и интеллектуальный аскетизм. Историки считают, что синкретизм рождается от соединения непримиримых принципов мышления; навряд ли это применимо к нам. И дело даже не в смешении рас и языков. Просто есть у александрйцев такой национальный пунктик: искать согласования двух глубочайших психологических особенностей из всех, которые они за собой знают. Вот почему мы все истерики и экстремисты. Вот почему мы все – непревзойденные любовники».

Здесь не место писать о том, что я знаю о каббале, даже если бы я всерьез решился сформулировать «эзотерические основы Гносиса»; и никакой герметист восходящего пути не смог и не стал бы – поскольку любые такого рода фрагменты откровения уходят корнями в Мистерии. И не потому, что говорить об этом нельзя. Но разделить с тобой твой опыт может только посвященный.

Я окунулся во все это раньше, еще в Париже, уверенный, что смогу отыскать тропинку, ведущую к более глубокому пониманию собственной сути – которая представлялась мне тогда громоздким, беспорядочным и бесформенным общением порывов и страстей. Я считал эту область знания полезной для себя, хотя национальный и врожденный скептицизм и не давал мне полностью увязнуть в тенетах какой-нибудь сектантской веры. Около года я проучился у суфи Мустафы, сидя по вечерам на шаткой деревянной террасе его дома и слушая его мягкий паутинный голос. Я пил шербет с

турком – знатоком тайн Корана. И вот теперь с легким ощущением того, что все это уже было, я протискивался рядом с Жюстин сквозь толпу по кривым улочкам на холме у форта Ком-эль-Дик, пытаюсь представить себе, как все здесь выглядело, когда было парком, посвященным Пану, – крошечный коричневый холмик, изрезанный, точно еловая шишка. От самой тесноты здешних улиц веяло каким-то уютom, хотя стояли вдоль них лишь муравейники доходных домов с маленькими кафе в полуподвалах, где на стенах – фитильные лампы. Странное чувство покоя населяло этот крохотный уголок города – покоя, отдававшего привкусом деревенской атмосферы Дельты. Ниже, на амфорном фиолетово-коричневом «мейдане» у вокзала, теряясь в блеклых сумерках, маленькие кучки арабов собирались вокруг фехтовальщиков на палках, и резкие их крики глохли в блеклых сумерках. На юге светился тусклый диск Мареотиса. Жюстин шагала с привычной поспешностью, молча, неодобрительно оглядываясь на меня, когда я отставал, чтобы глянуть мельком сквозь открытые двери на маленькие, освещенные наподобие кукольных представлений домашние сцены, полные, казалось, потрясающей драматической значимости.

Кружок каббалистов собирался тогда в заброшенной сторожке, прилепившейся к земляному боку набережной совсем неподалеку от колонны Помпея. Выбор подобного *venue*<sup>58</sup> был вызван, очевидно, тем нездоровым интересом,

---

<sup>58</sup> Убежища (фр.).

который египетская полиция питала ко всякого рода собраниям. Где-то в путанице траншей и насыпей, рожденных фантазией археологов, мы отыскивали тропинку, ведущую к каменным воротам, а потом, несколько раз круто повернув под прямым углом, – вошли в большое неуютное помещение с полом из утрамбованной глины, одна из стен которого была земляным боком набережной.

В Кружок входило человек двадцать, из самых разных частей города. С некоторым удивлением я обнаружил в углу худую усталую фигуру Каподистриа. Здесь же был, естественно, и Нессим, но в общем-то представителей богатых и образованных кварталов я насчитал немного. Был, к примеру, престарелый часовщик, его я прекрасно знал в лицо – элегантный седой человек с суровыми чертами лица, которым, как мне всегда казалось, не хватало для полной завершенности лишь скрипичной деки у щеки. Несколько блеклых пожилых дам. Химик. Бальтазар сидел перед ними на низеньком стуле, положив уродливые руки на колени. Я сразу узнал в нем, непривычно изменившемся, того завсегдатая кафе «Аль Актар», с которым как-то раз играл в триктрак. Еще несколько разрозненных минут прошли в перешептываниях, пока общество дожидалось запоздалых членов; затем старый часовщик встал и попросил Бальтазара начать, и мой теперешний друг откинулся на стуле, закрыл глаза и резким каркающим голосом, постепенно обретавшим необычайную мощь и глубину, стал говорить. Речь шла, насколько я помню

сейчас, о *fons signatus*<sup>59</sup> человеческой души и о ее способности постичь изначальную упорядоченность вселенной, скрытую за внешней бесформенностью и случайным характером явлений. Дисциплина духа может наделить человека способностью проникать за покров действительности и открывать в пространстве и времени гармонию, согласную с внутренним строем его собственной души. Но изучение каббалы есть одновременно и наука и религия... – все это было, конечно же, вполне знакомо. Но сквозь рассуждения Бальтазара прорывались порой блестящие непривычных мыслей, облаченных в скользкую плоть афоризма, далеко не столь простых, как то могло показаться на первый взгляд, – они-то и терзали меня еще долгое время после нашей первой встречи. Я помню, как он сказал, к примеру: «Высшее достижение великих религий – возведение сложной иерархии запретов. Но запрет рождает ту самую страсть, которую он призван излечить. Мы, каббалисты, говорим – *не отвергай, но очищай*. Мы принимаем все, дабы приблизить полноту человека к полноте вселенной, – даже удовольствие, разрушительный распад духа в наслаждении на отдельные монады».

Общество состояло из «внутреннего» кружка посвященных (Бальтазар поморщился бы при этом слове, но я не знаю лучшего) и «внешнего» – учеников, куда входили и Жюстин с Нессимом. «Внутренний» кружок включал в себя двенадцать человек, рассеянных по всему Средиземноморью –

---

<sup>59</sup> Источнике значений (*лат.*).

Бейрут, Яффа, Тунис и так далее. И везде были маленькие академии, где студенты учились владеть той странной, одновременно рациональной и эмоциональной системой счисления, которую каббала выстроила вокруг идеи Бога. Члены «внутреннего» общества состояли в оживленной переписке, используя забавную древнюю форму письма, так называемый *бустрофедон*, где строчки читались – одна справа налево, а следующая – слева направо. Но буквы, составляющие эти строки, были идеограммами для состояний ума и духа. Я сказал достаточно.

В тот первый вечер Жюстин сидела между нами, слегка касаясь наших рук, и слушала – с трогательным вниманием и покорностью. Временами взгляд говорящего останавливался на ней – как на добром старом знакомом. Знал ли я уже тогда – или позже, гораздо позже открыл для себя, что Бальтазар был, пожалуй, единственным ее другом, а уж наверняка – единственным во всем городе конфидентом? Не помню. («Бальтазар – единственный человек, которому я могу сказать все. Он только смеется. Но каким-то образом это заставляет рассеяться ту пустоту, которая во всем, за что я ни возьмусь».) Не кому иному, как Бальтазару, писала она длинные, полные самокопания письма, столь занимавшие дотошного Арноти. Как-то в ее дневнике я наткнулся на запись о том, как однажды ночью их пустили в музей и как она сидела больше часа, окруженная статуями, «безглазыми, словно в страшном сне», и слушала, как он говорит. Много из того,

что он сказал тогда, задело ее за живое, но когда позже она попыталась вспомнить и записать хоть что-то – ничего не осталось. Однако она помнит, как он говорил задумчиво и тихо о «тех из нас, кому суждено принести свои тела в жертву людоедам», и помнит, что эта мысль пробрала ее до костей – прямое указание на жизнь, которую она вела. Что до Нессима, я помню, как он рассказывал мне о том, что однажды, когда он был на грани нервного срыва из-за Жюстин, Бальтазар бросил ему сухо: «*Omnis ardentior amator propriae uxoris adulter est*»<sup>60</sup>. И добавил немного погодя: «Я говорю как каббалист сейчас, не как частное лицо. Страстная влюбленность в собственную жену – тоже адюльтер».

\* \* \*

Александрия, вокзал, полночь. Обильная роса, смертельный холод. Чавканье автомобильных шин по грязной мостовой. Желтые лужи фосфорического света, коридоры темноты, как бреши в унылых кирпичных фасадах станционных построек. Полицейские в пятнах тьмы. Грязный волглый кирпич сквозь рубашку – я прислонился к стене, чтобы поцеловать ее на прощание. Она уезжает на неделю, но сквозь полусон я в ужасе понимаю, что она может не вер-

---

<sup>60</sup> «Всякий, кто любит невоздержанно, изменяет супруге своей». Цитата из «Изречений» Секста, предположительно 1 в. н. э., в латинском переводе. Sextus Sent., 231.

нуться. Мягкий уверенный поцелуй и ясные глаза заливают меня пустотой. Перезвук ружейных прикладов и птичий щебет голосов на бенгали на темной платформе. Подразделение индийских пехотинцев следует в Каир, рутинная перетасовка гарнизонов. Только когда поезд трогается, когда женская фигура в окне, темная на темном, выпускает мою руку, я чувствую, что Мелисса действительно уезжает; чувствую все то, что становится добычей ночи, сразу – длинное движение поезда в серебристых сполохах света вдруг совмещается с длинным движением ее смутно белеющей спины в полумраке, в постели. «Мелисса», – срывается с моих губ, но паровоз обнюхивает рельсы, и все другие звуки бесследно исчезают. Она начинает качаться, искривляется и гаснет за стеклом; вокзал, как проворный рабочий сцены, пронесит мимо меня рекламу за рекламой и мечет их во тьму. Я остаюсь, словно брошенный на айсберге. Рядом со мной высокий сикх забрасывает на плечо винтовку, в ствол которой он вставил розу. Уже лишённые плоти очертания вагонов скользят по рельсам все дальше и дальше; последний поворот, и поезд, трансмутируя в жидкость, вливается в тоннель.

Всю ночь брожу вдоль Мохаррем-Бей, глядя на луну сквозь облака, гонимый невыразимой тоской.

Яркий свет за облаками; около четырех часов утра по мне булавочками проходится мелкий частый дождь. Окоченевшие пуансеттии за оградой консульства, с каплями, застывшими на тычинках. Птицы на заре не пели. Ближе к утру

слабый ветер заставляет пальмы слегка нагнуть лохматые головы: принужденные поклоны, легкий скрип. Упоительный шорох дождя на Мареотисе.

Пять часов. Хожу по ее комнате, сосредоточенно изучая неодушевленные предметы. Пустые коробочки из-под пудры. Средство для удаления волос, сделано в Сардах. Запах атласа и кожи. Кошмарное чувство, словно надвигается грандиозный скандал...

Я пишу эти строки совсем в иной обстановке, и много месяцев пролетело с той ночи; здесь, под оливой, в мелком озерце света от масляной лампы, я пишу и переживаю заново ту ночь, которая уже успела занять свое скромное место в бездонных хранилищах памяти Города. Где-то здесь же, поодаль, сидит в огромном занавешенном коричнево-желтыми гардинами кабинете Жюстин и списывает в дневник страшные афоризмы Гераклита. Сейчас эта тетрадь передо мной. На одной из страниц она написала: «Трудно противостоять желаниям сердца: если оно чего-то очень захочет, купит за любую цену и заплатит душой». И ниже, в скобках: «Сомнамбулы, маги, бакши, ленаи и *посвященные*...»

\* \* \*

Не в это ли самое время Мнемджян встревожил меня, прошептав мне в самое ухо: «Коэн умирает, вы знаете?» Старого меховщика не было видно уже несколько месяцев. Ме-

лиссе кто-то сказал, что он в больнице и что у него уремия. Но изменилась орбита, которую мы с ним привычно описывали вокруг этой женщины, – поворот kaleidoscope, и вот он утонул, ушел из поля зрения, как выпадает из узора кусочек цветного стекла. Итак, теперь он умирает. Я ничего не сказал в ответ, я просто сидел и перебирал про себя все наши встречи на углах и в барах – уже, стало быть, успевшие стать прошлым. Молчание затянулось; Мнемдзян аккуратно подправил мне бритвой височки и принялся работать пульверизатором. Потом осторожно вздохнул и продолжил: «Он все время зовет вашу Мелиссу. День зовет, ночь зовет».

«Я ей передам», – сказал я. Маленький агент памяти кивнул, и в глазах его зашевелились пушистые облачка соучастия. «Это ужасное заболевание, – сказал он еле слышно, – от него так пахнет. Они скребут ему язык лопаточкой. Фу!» И он направил пульверизатор вверх, в потолок, словно для того, чтобы продезинфицировать память, словно запах мочи проник и в его парикмахерскую.

Мелисса лежала на диване в халате, отвернувшись к стене. Я было подумал, что она спит, но стоило мне войти, она повернулась и села. Я пересказал ей Мнемдзянову новость. «Я знаю, – сказала она. – Они прислали мне из госпиталя записку. А я что могу поделывать? Я не хочу туда идти, не хочу его видеть. Он ничего не значит для меня, не значил и значить не будет». Я сел и еще раз воскресил в памяти ручного тюленя, грустно глазающего в стакан. Мелисса, мне дума-

ется, приняла мое молчание за упрек – она подошла и осторожно положила руки мне на плечи: я очнулся. «Но он же умирает», – сказал я, – для себя самого, пожалуй, не в меньшей степени, чем для нее. Она вдруг словно сломалась, упав на пол и уронив голову ко мне на колени. «Господи, как муторно от всего этого! Ну пожалуйста, не заставляй меня туда идти!»

«Нет, конечно».

«Нет, если ты считаешь, что так нужно, я пойду».

Я снова промолчал. В каком-то смысле Коэн был уже мертв и похоронен. Он потерял свое место в нашей истории, и тратить на него эмоции, какую-то энергию дальше было, наверное, бессмысленно. Все это уже не имело никакого отношения к еще живому человеку, который лежал в больничной палате с чисто выбеленными стенами среди самостийно тасующихся частей своего собственного старого тела. Потому что отныне он стал для нас просто персонажем из древней истории. И все же он был здесь, он упрямо настаивал на своем праве быть, он снова пытался войти в наши жизни, в иной точке орбиты. Что могла Мелисса дать ему теперь? В чем она могла ему отказать?

«Хочешь, я схожу?» – спросил я. Внезапно меня посетила безумная мысль, что здесь, в смерти Коэна, я смогу провидеть судьбу моей собственной любви – и ее смерть. То, что некто *in extremis*, взывающий к помощи любимого когда-то человека, может получить в ответ всего лишь пару раздра-

женных междометий, напугало меня. Что-либо изменить было уже невозможно, эта женщина принадлежала мне, и старик утратил право на ее сострадание, даже просто на интерес к своей судьбе – она вступила в сезон иных горестей, на фоне которых блекли и терялись старые. Пройдет еще немного времени, и что, если она позовет меня или мне понадобится ее участие? Отвернемся ли и мы друг от друга с таким же восклицанием, за которым – лишь отвращение и пустота? Любовь, любая любовь предстала предо мной в истинном своем обличье: тот абсолют, что отнимает все и ничего не гарантирует взамен. Все прочие чувства: сострадание, нежность и так далее – существуют только на периферии и проходят по ведомствам привычки и общественных отношений. Но сама она – суровая и безжалостная Афродита – язычница. Не разум наш, не инстинкты, не это ей нужно – но самое наше нутро. Страшно подумать, этот старик даже у края могилы не может утешить себя хотя бы минутным теплом от воспоминания о чем-то, что он когда-то сказал или сделал: и в этой малой толике тепла ему отказала женщина, самая преданная и милосердная из смертных.

Быть забытым вот так – все равно что умереть смертью пса. «Я пойду и навещу его вместо тебя», – сказал я, хотя подобная перспектива отнюдь меня не грела; но Мелисса уже спала, разметав свои темные волосы по моим коленям. Когда бы ни приходилось ей тяжело, она находила убежище в бесхитростном мире сна, ускользая в небытие так же просто

и естественно, как лань или ребенок. Я осторожно раздвинул полы выцветшего кимоно и стал тихо поглаживать ее маленькие груди, ее проглядывающие сквозь кожу ребра. Она встрепенулась в полусне и все бормотала что-то невнятное, пока я бережно поднял ее на руки и перенес обратно на диван. Я долго смотрел на нее спящую.

Уже стемнело, и город тихо дрейфовал к ярким огням кафе на центральных улицах, словно плавучий остров, подушка из водорослей. Я пошел к Паструди, заказал двойной виски и выпил его медленно и вдумчиво. Затем взял такси и поехал в госпиталь.

Я шел за дежурной сестрой по длинным безликим коридорам, стены которых, выкрашенные зеленой масляной краской, дышали липкой влагой. Из-под потолка за нами следили застывшие неестественно белые лампы, похожие на распухших светляков.

Его поместили в крохотную палату с одной-единственной койкой под балдахином; как мне позже сказал Мнемджан, эта палата была зарезервирована для безнадежных больных, которым оставалось жить буквально считанные дни. Поначалу он меня не заметил, ибо лицо его выразило лишь неприязнь и усталость, когда сестра принялась взбивать ему подушки. Я был поражен спокойной, обдуманной уверенностью, написанной на этом лице, исхудавшем почти до неузнаваемости. Плоть иссохла, кожа туго облепила скулы, обнажив до самого основания длинный, с легкой горбинкой

нос, сделав заметнее изящный вырез ноздрей. Рот и нижняя челюсть вернули себе энергические очертания, характерные, должно быть, для его лица в ранней молодости. Горячка оставила под глазами синяки, а подбородок и горло заросли густой черной щетиной, но сквозь все эти тени просвечивали линии его нового лица, чистые, как у тридцатилетнего мужчины. Те образы, которые я долго носил в своей памяти – потный дикобраз, дрессированный тюлень, – немедленно растворились, и на смену им пришло новое лицо, новый человек, похожий на одного из зверей Апокалипсиса. Нескончаемую минуту простоял я поодаль, наблюдая за ним, за незнакомцем, принимавшим хлопоты сестры с сонной царственной усталостью. Дежурная сестра прошептала мне на ухо: «Хорошо, что вы пришли. Никто к нему не ходит. Он бредит иногда. Потом приходит в себя и зовет людей. Вы родственник?»

«Деловой знакомый», – сказал я.

«Ему это на пользу пойдет, если увидит кого знакомого».

Интересно, узнает ли он меня, подумал я. Если я изменился хоть в половину против него, можно считать, что мы никогда и не встречались. Теперь он откинулся на подушку, и дыхание со свистом вырывалось из длинного лисьего носа, возвышавшегося посреди его лица со спокойным достоинством, подобно гордой деревянной фигуре на носу покинутого командой корабля. Наши перешептывания встревожили его – он обратил в мою сторону слегка неуверенный,

но вполне ясный и осмысленный взгляд, взгляд хищной птицы. Он меня не узнал, пока я не качнулся вперед и не сделал несколько шагов по направлению к его постели. И тут в одно мгновение глаза его брызнули светом – причудливая смесь унижения, задетой гордости и простодушного страха. Он отвернулся к стене. Я выпалил все, что имел сказать единым духом. Мелиссы в городе нет, сказал я, но я телеграфировал ей, чтобы приезжала как можно скорее; а пока пришел узнать, не смогу ли я сам быть хоть чем-то полезен. Его плечи вздрогнули, и мне показалось, что сейчас с его губ сорвется невольный стон; но вместо стоны я услышал в конце концов смешок, резкий, бездумный и немзыкальный. Словно в ответ на призрак старой шутки, такой избитой и надоевшей, что и не могла она вызвать ничего, кроме брезгливого полудвижения уголков этого мертвенного рта в туго натянутой коже щек.

«Я знаю, что она здесь», – сказал он; одна его рука дернулась, как испуганная крыса, и, пробежав по покрывалу, схватила мою. «Благодарю за любезность». Он произнес эти слова, и мне показалось, что тут же, совершенно внезапно, обрел спокойствие духа, – хотя лица его я не видел. «Мне хотелось, – медленно сказал он: так, словно собрал волю в кулак, желая придать фразе единственно возможную точную форму. – Мне хотелось рассчитаться с ней по совести. Я вел себя отвратительно. Она, конечно, не замечала; она слишком простодушна, но она хорошая, очень хорошая девочка».

Странно было слышать слова «*bonne copine*»<sup>61</sup> из уст александрийца, да еще произнесены они были с той тягучей напевной интонацией, которая столь характерна для здешних образованных классов. Затем он добавил, с видимым усилием, явно переступив через себя: «Я обманул ее – с шубой. На самом деле это был котик. Да еще и траченный молью. Я просто велел ее перелицевать. Зачем я так сделал? Когда она болела, я не дал ей денег, чтобы сходить к врачу. Мелочи, но весят тяжело». В уголках его глаз набрякли слезы, горло перехватило, словно от реальной тяжести совершенного. Он громко сглотнул и сказал: «Это вовсе не в моем характере. Спросите любого делового человека, меня многие знают. Любого спросите».

Но мысли его уже начали путаться, и он постепенно увел меня, мягко взяв за руку, в непролазные дебри бреда: он брел по ним такой уверенной поступью и так спокойно вернулся в этот лес, что я едва ли не обрел способность видеть его глазами. Незнакомые деревья смыкались над ним, скользя ветками по лицу; тряслась на литых колесах по белому булыжнику допотопная карета «скорой помощи», темная внутри, переполненная металлическими предметами и смуглыми телами других людей, и все они говорили о преддверии ада – омерзительное нытье, перемежаемое арабскими подвываниями. Боль; она тоже начала подниматься к его мозгу, вытесняя одни картины бреда, заменяя их другими. Твердые белые ка-

---

<sup>61</sup> Славная девочка, добрая подружка (*фр.*).

ретки его койки стали коробками, полными разноцветных брикетов, белый температурный лист – лицом лодочника.

Они тихо скользили, Мелисса и он, по мелким кроваво-красным водам Мареотиса, обняв друг друга, в сторону кучки глинобитных хижин – когда-то здесь стоял Ракотис <sup>62</sup>. Он воспроизвел разговор с безупречной достоверностью, и, хотя женская партия лишь подразумевалась, я тем не менее отчетливо слышал ее спокойный голос и из его ответов выводил ее вопросы. Она безнадежно пыталась убедить его жениться на ней, а он ловчил, не намеренный лишать себя ее очарования и в то же время не желая себя связывать. Что меня заинтриговало: та необычайная точность, с которой он повторил весь разговор, явно занимавший в его памяти место одного из сильнейших за всю жизнь переживаний. Он еще не осознавал тогда, как сильно любит ее; должен был появиться я, чтобы преподать ему урок. А с другой стороны, как так вышло, что Мелисса никогда не говорила со мной о замужестве, никогда не показывала мне всей глубины своей слабости и усталости: так, как ему? Это меня задело, и задело всерьез. Сама мысль, что она могла показать ему тот срез своей личности, который оставался до сих пор от меня сокрытым, была с трудом переносима для моего мужского тщеславия.

Сцена вновь переменилась, и он впал в иное, более свет-

---

<sup>62</sup> То есть начало начал Александрии, та древняя египетская деревня, на месте которой вырос эллинистический мегаполис.

лое состояние духа. Словно продравшись сквозь необозримые джунгли безумия, мы вышли к пустошам здравого смысла, где он смог наконец скинуть с себя груз поэтических иллюзий. Здесь он тоже говорил о Мелиссе, и тоже с чувством, но уже спокойно, как муж или как король. Как будто теперь, когда плоть его умирала, все сокровища, так долго дремавшие под спудом фальшивого золота неправильно и несправедно прожитой жизни, хлынули вдруг через открывшиеся люки и затопили авансцену его мозга. Там была не только Мелисса, он говорил и о своей жене – и иногда путал их имена. Было еще третье имя, Ревекка, произносимое весьма осторожно и с куда более страстной печалью, чем первые два. Не иначе, его маленькая дочь, подумал я, ибо именно дети призваны наносить последний *coup de grâce*<sup>63</sup> в жестоких играх человеческого сердца.

Сидя у его изголовья, чувствуя, как тикает его пульс в унисон с моим собственным, и слушая, как он говорит о моей любимой женщине с каким-то странным властным спокойствием, я просто не мог не заметить, насколько богат был в действительности этот человек, которого могла бы полюбить Мелисса. По какой нелепой случайности она упустила в нем того, кем он был на самом деле? Какой уж там объект для презрения (а я всегда видел в нем объект для презрения)! Отныне он был опасным соперником, о силе которого я, как оказалось, был совершенно не осведомлен; и мне даже стыд-

---

<sup>63</sup> Удар, которым из милости добивают раненого (*фр.*).

но записывать мысль, пришедшую мне тогда в голову. Я был рад, что Мелисса не пришла сюда и не увидела его таким, каким увидел его я, она вполне могла бы внезапно для себя открыть его заново. Еще один парадокс – как щедра на парадоксы любовь! – я понял, что ревную к нему, умирающему, почти уже умершему, куда больше, чем тогда, когда он был жив. Страшная мысль для того, кто так долго был внимательным и прилежным студентом любви, но за ней я снова разглядел суровое, лишенное проблеска мысли, животное лицо Афродиты.

В каком-то смысле я признал в нем, в самом звуке его голоса, произносившего ее имя, ту зрелость, которой мне недоставало: ибо он сумел преодолеть свою любовь к ней без угроз и без боли и дал ей вызреть, как и должно любой любви, в беззаветную, лишенную имен дружбу. Его не страшила смерть, и он не собирался клянчить подачек у бывшей любовницы, он всего лишь хотел предложить ей из неисчерпаемой сокровищницы собственного умирания последний дар.

Великолепная соболья шуба лежала на стуле в ногах его кровати, облаченная в хрустящую бумагу; я с первого взгляда понял, что ему не следовало бы делать Мелиссе таких подарков, потому что шуба эта затмит и сотрет в порошок весь остальной ее убогий, с миру по нитке гардероб. «Я вечно думал о деньгах, – сказал он легко и ясно, – покуда был жив. Начинаешь умирать, и вдруг оказывается, что ты богат». В первый раз в жизни он мог себе позволить быть едва ли не

беспечным. Вот только болезнь стояла рядом, как терпеливый и жестокий наставник.

Время от времени он погружался в короткий беспокойный сон, и усталый мой слух заполняло одно лишь гудение тьмы, как гудение пчелиного улья. Было уже поздно, но я никак не мог собраться с духом и оставить его. Сиделка принесла мне чашку кофе, и мы поговорили шепотом. Я слушал, как она говорит, и отдыхал, ибо для нее болезнь была просто профессией, которой она овладела в совершенстве, и относилась она к ней как хороший подмастерье. Холодным, ровным голосом она сказала: «Он бросил жену и ребенка ради *une femme quelconque*<sup>64</sup>. Теперь ни жена, ни эта женщина, его любовница, не желают его видеть. Так-то». Она пожала плечами. Все эти запутанные связи не вызывали в ней чувства сострадания, она смотрела на них просто как на проявление слабости, а слабость не заслуживала ничего, кроме презрения. «А почему к нему не приходила дочь? Разве он не просил, чтобы она пришла?» Она ковырнула зуб ногтем мизинца и сказала: «Как же, просил. Но теперь он не хочет ее пугать, не хочет, чтобы она его больного видела. Это, сами понимаете, не для ребенка зрелище». Она взяла распылитель и лениво опрыскала воздух над нашими головами каким-то дезинфицирующим составом, остро напомнив мне Мнемд-жяна. «Поздно уже, – добавила она. – Вы что, на ночь останетесь?»

---

<sup>64</sup> Случайной женщины (*фр.*).

Я уже собрался было уходить, но спящий проснулся и снова схватил меня за руку. «Не уходите, – произнес он голосом сильно надтреснутым, но вполне ясным – складывалось такое впечатление, что он слышал конец нашего разговора. – Оставайтесь еще ненадолго. Я тут о многом успел подумать и хочу вам кое-что показать». Повернувшись к сиделке, он сказал тихо, но очень отчетливо: «Выйдите отсюда!» Она разгладила постель и снова оставила нас вдвоем. Он глубоко вздохнул, и, если бы я не следил за его лицом, вздох этот показался бы мне вздохом счастливого облегчения. «В шкафу, – сказал он, – вы найдете мои вещи». В шкафу висели два темных костюма. Следуя его указаниям, я снял с плечиков один из жилетов и копался в его кармашках до тех пор, пока пальцы мои не отыскали два кольца. «Я решил предложить Мелиссе выйти за меня замуж теперь, если она захочет. Поэтому я за ней и послал. В конце концов, что от меня проку? Мое имя?» Он едва заметно улыбнулся потолку. «А кольца, – он осторожно, почти благоговейно держал их кончиками пальцев, словно облатку на первом причастии, – эти кольца она сама выбрала, уже давно. Теперь они должны принадлежать ей. Может быть...» Он посмотрел на меня долгим ищущим взглядом, и в этом взгляде была боль. «Нет, конечно, – сказал он наконец. – Вы-то на ней не женитесь. Зачем это вам? Неважно. Возьмите их, для нее, и шубу тоже».

Я опустил кольца в мелкий нагрудный карман пальто и

ничего не сказал. Он снова вздохнул и, к моему удивлению, пропел тоненьким тенорком сказочного гнома, приглушенным почти до пределов слышимости, несколько тактов популярной песенки, по которой некоторое время назад сходила с ума вся Александрия, *Jamais de la vie*, – Мелисса все еще танцевала под эту мелодию в клубе. «Послушайте, какая музыка», – сказал он, и я вдруг вспомнил умирающего Антония из стихотворения Кавафиса – стихотворения, которого он никогда не читал и никогда не прочтет. В гавани как-то вдруг заревели сирены, словно планеты, мучимые болью. И снова я услышал, как этот гном поет о *chargrin* и *bonheur*, и пел он не для Мелиссы, а для Ребекки. Как непохоже на душераздирающие звуки того оркестра, к которому прислушивался Антоний, – мучительное великолепие голосов струн и человеческих голосов, текущих по темной улице, – последнее «прости», Александрия дарит им тех, на ком ставит свои эксперименты. Каждый человек уходит под свою музыку, подумал я и вспомнил, со стыдом и болью, неуклюжие движения танцующей Мелиссы.

Течение уже отнесло его к той тонкой линии, за которой – только сон, и я решил, что пора идти. Я взял шубу и засунул ее в нижний ящик шкафа, а потом на цыпочках вышел из палаты и вызвал сиделку. «Так поздно уже», – сказала она.

«Я приду утром», – сказал я. Я действительно собрался прийти.

Я шел по темному тоннелю из густолистных деревьев, про-

буя на вкус растрепанный ветер из гавани, и вспоминал Жюстин, которая, лежа в постели, однажды бросила мне резко: «Мы друг для друга – топоры, чтобы рубить под корень тех, кого по-настоящему любим».

\* \* \*

Нас часто ставили в известность, что истории нет дела до частных, тем не менее мы все же склонны и скупость ее, и расточительность принимать как результат заранее обдуманных намерений; мы никогда не вслушиваемся по-настоящему...

И вот он, этот темный полуостров, похожий по форме на лист платана, пальцы расставлены (зимний дождь хрустит на камнях, как солома), я иду, и волны, жадно жующие набитыми ртами скрипкие губки, туго укутывают меня ветром, структура готова, осталось одеть ее смыслом.

Все формы сознания обусловлены историей, и я просто обязан воспринимать ландшафт как поле деятельности человеческой воли – распластанный на хутора и деревни, распаханый городами. Ландшафт, меченный росчерками людей и эпох. Но теперь я все-таки мало-помалу начинаю понимать, что воля наследует пейзажу; что мебель человеческой воли зависит от местоположения человека в пространстве, от того, родился он среди возделанных полей или в жестокой до садизма чаще леса. И то, что я наблюдаю, вовсе не есть воз-

действие свободной человеческой воли на неподатливую материю природы (как мне казалось раньше), но неудержимый процесс прорастания сквозь человека бесконечно разнообразных и жестоких, слепых и невыразимых словами догматов этой самой природы. Для опытов своих она выбрала сей бедный разлапистый клочок земли. Как бессмысленны в таком случае слова и дела любого человека, вроде слов Бальтазара, услышанных мною однажды: «Миссия Кружка, ежели таковая у него имеется, состоит в том, чтобы облагородить все функциональное до такой степени, чтобы даже еда и дефекация поднялись до высот искусства». Как не распознать здесь цветка чистой воды скептицизма, скрытого под гумусом воли к жизни? И только любовь способна здесь хоть как-то поддержать...

Не те же ли самые мысли кружили в голове Арноти, когда он писал: «Для писателя человек как психологический феномен более не существует. Подобно мыльному пузырю, лопнула современная душа под пристальными взглядами мистагогов. Вот ты писатель – и что тебе осталось?»

Может быть, я и выбрал сие пустынное место, чтобы прожить следующие несколько лет, именно потому, что понял это: выжженный солнцем мыс на Кикладах. Омываемый со всех сторон историей, этот остров – единственный свободный ото всяческих отсылок. Ни разу он не упоминался в анналах расы, его населяющей. Его историческое прошлое оплачено не временем, но местом – никаких храмов, свя-

ценных рощ, амфитеатров, никаких порочных от рождения идей, расцветенных фальшивыми уподоблениями. Разноцветные лодчонки на берегу, как на полке, гавань за горами и маленький город, обездоленный всемирной неизвестностью. И все. Раз в месяц сюда заходит пароходик, следующий на Смирну.

Зимними вечерами морские грозы карабкаются по утесам и заполняют собой небольшую рощу огромных неухоженных платанов, где я обычно гуляю; они рычат и шепчут на странном диком диалекте, перебирая и расплескивая гигантские ветви.

Здесь я брожу, просматривая за разом раз дорогие мне воспоминания, их некому со мной делить: но лишить меня этой роскоши не в силах даже время. Волосы мои прилипли к скальпу, одной рукой я прикрываю от ветра догорающую трубку. Надо мной – ночное небо, бриллиантовые соты звезд. Медленно оплывает Антарес, по каплям сквозь звездную пыль... Все, что я оставил позади с легким сердцем: послушные книги и друзья, освещенные комнаты, камин, сложенные, чтобы сидеть возле них и беседовать, – все привилегии цивилизации – не вызывает у меня тоски, только удивление.

В самом этом выборе, и в нем тоже, я вижу некий элемент случайности; и происходит он от импульсов, которые, как мне, должно быть, придется признать, рождены вне плавной амплитуды моей души. И все же, как ни странно, только

здесь я наконец обрел способность опять войти, опять поселиться в этом не похороненном песками городе, вместе с моими друзьями; оплести их тяжелой стальной паутиной метафор, которым, может быть, суждено прожить половину срока жизни Города, – а может быть, я просто хочу в это верить. Отсюда я по крайней мере могу смотреть на их истории и на историю Города как на нечто единое.

Но самое странное: счастьем этим я обязан Персуордену – вот уж о ком бы никогда не подумал как о потенциальном благодетеле. Наша последняя, к примеру, встреча в уродливом и дорогом гостиничном номере, куда он переезжал всякий раз по возвращении Помбаля из отпуска... Я не узнал в ее тяжелом, затхлом воздухе запаха близкого самоубийства – с чего бы? Я знал, что он несчастлив; да если бы он и не был таковым, то стал бы несчастливостью симулировать из чистого чувства долга. В наши дни художник просто не имеет права не взрастить в себе маленькой личной трагедии – это не в моде. А поскольку он был англосакс, то не обошлось и без малой толики сентиментальной жалости к себе любимому, эта простительная слабость и заставляла его время от времени надираться. В тот вечер он был просто невыносим, то туп, то остроумен попеременно; я помню, что подумал, слушая его: «Вот человек, который, возделывая свой талант, пренебрег культивацией чувств, и не по случайному совпадению, а обдуманно, ибо, займись он самовыражением, и это могло бы привести к конфликту с миром: или же одиночество

поставило бы под угрозу его здравый смысл. Он не смог пожертвовать пропуском, еще при жизни, в бальные залы признания и славы. А внутри, за всеми этими ширмами, шла постоянная борьба с почти непереносимым ощущением: его ум просто-напросто труслив. И вот сейчас его карьера достигла интересной точки: красивые женщины – а он, как и положено застенчивому провинциалу, всегда считал их чем-то для себя недостижимым – просто на седьмом небе от счастья, если их видят с ним под руку. В его присутствии на лицах у них появляется слегка рассеянное выражение – как у муз, страдающих запором. Им льстит, если он прилюдно задержит руку в перчатке чуть дольше, чем следует. На первых порах это должно было лить бальзам на тщеславие одинокого мужчины; но в конце концов привело лишь к обострению неуверенности в себе. Свобода, завоеванная скромным финансовым успехом, начала угнетать его. Он стал все сильнее и сильнее тосковать по истинному величию, а его имя между тем день ото дня вздымалось все выше и выше, как безвкусная реклама. Он понял, что люди прогуливаются по улице под ручку с Репутацией, а не с человеком. Его самого они больше не замечают – а ведь все его книги были написаны с единственной целью: привлечь внимание к одинокому страдальцу, коим он себя считал. Имя прихлопнуло его, как надгробный камень. И тут вдруг случается кошмарная мысль – а может, уже и *некого*

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.